Николай Добролюбов

О степени участия народности в развитии русской литературы

FB2: “Chernov2 ” <chernov@orel.ru >, 08 April 2012, version 1.0
UUID: d297bbbd-813a-11e1-aac2-5924aae99221
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Александрович Добролюбов

О степени участия народности в развитии русской литературы

«...литература, при всех своих утратах и неудачах, осталась верною своим благородным преданиям, не изменила чистому знамени правды и гуманности, за которым она шла в то время, когда оно было в сильных руках могучих вождей ее. Теперь никого нет во главе дела, но все дружно и ровно идут к одной цели; каждый писатель проникнут теми идеями, за которые лет десять тому назад ратовали немногие, лучшие люди; каждый, по мере сил, преследует то зло, против которого прежде возвышалось два-три энергических голоса. То, что было тогда достоянием немногих передовых людей, перешло теперь во всю массу людей образованных и пишущих...»

Николай Александрович Добролюбов
О степени участия народности в развитии русской литературы

«Очерк истории русской поэзии» А. Милюкова. Второе, дополненное издание. СПб. 1858 г.

Книжка г. Милюкова – наша старая знакомая. Первое издание ее было в 1847 г., и тогда же она была оценена по достоинству в наших журналах. Новое издание этой книги приятно напомнило нам время первого ее появления и заставило подумать о том, что произошло в нашей литературе в последнее десятилетие. По-видимому, ничего не произошло особенного: в 1847 г. высказывались идеи и стремления, совершенно близкие к тем, какие высказываются в 1858 г. Книжка г. Милюкова может служить лучшим тому доказательством. Следуя мнениям Белинского о русских литературных явлениях, г. Милюков составил тогда очерк развития русской поэзии, – и этот очерк до сих пор не теряет своей правды и значения. Тогда находил он хорошими только те явления русской поэзии, в которых выражалось сатирическое направление; и теперь не нашел он ничего, что можно бы было похвалить у нас вне сатирического направления. Тогда заключил он свой очерк словами Лермонтова: «Россия вся в будущем» – и теперь заключает его теми же словами… Ожидаемое будущее еще не настало для

русской литературы; продолжается все то же настоящее, какое было десять лет тому назад... Мы еще в том же гоголевском периоде и напрасно ждем так давно нового слова: для него еще, верно, не выработалось содержание в жизни.

Но если не заметно ничего особенно во внутреннем содержании и характере литературы, зато нельзя не видеть, что внешним образом она развилась довольно значительно. Вспомним, какие люди действовали у нас на литературном поприще в сороковых годах и до 1847 г. включительно. Хотя в этом году Гоголь уже издал «Переписку», но все же он был жив, и надежды на него не покидали его почитателей. За Гоголем возвышался гениальный критик его, энергически громко и откровенно объяснивший России великое значение ее национального писателя. За Белинским высились еще два-три человека, возбуждавшие внимание публики к вопросам философским и общественным{1}. Под их знаменем ратовала тогда литература против неправды и застоя; от них заимствовала она свою энергию и жизнь.

Теперь тоже литература призывает общество к правде и деятельности, тоже восстает против злоупотреблений, но кто несет наше знамя? Вокруг кого собрались литературные деятели? Из тех, кто одушевлял литературу в сороковых годах,

Иных уж нет, а те далече{2}.

Из новых же деятелей нет никого, кто бы по своему таланту и влиянию равнялся Гоголю или Белинскому. Теперь нет литературных вождей, подобных прежним; они исчезли один за другим, русская литература утратила их в самый год смерти Белинского или недолго спустя{3}. Некоторые из них продолжали действовать и после, даже еще в больших размерах, чем прежде; но для большинства русской публики труды их оставались неизвестными в эти года. Так Гоголь до конца жизни не переставал работать над своим созданием; но только немногие, близкие к нему люди знали, какое произведение готовит он. До прочих едва доходили темные, неопределенные слухи о продолжении «Мертвых душ». Так было и с некоторыми из других ли-

тературных деятелей. Так и до сих пор, после смерти Гоголя и прекращения деятельности Белинского и некоторых его сподвижников, продолжается у нас отсутствие громкого имени, от которого приходила бы в движение литература, которым бы направлялась известным образом ее деятельность.

А между тем кто не видит, что литература, при всех своих утратах и неудачах, осталась верною своим благородным преданиям, не изменила чистому знамени правды и гуманности, за которым она шла в то время, когда оно было в сильных руках могучих вождей ее. Теперь никого нет во главе дела, но все дружно и ровно идут к одной цели; каждый писатель проникнут теми идеями, за которые лет десять тому назад ратовали немногие, лучшие люди; каждый, по мере сил, преследует то зло, против которого прежде возвышалось два-три энергических голоса. То, что было тогда достоянием немногих передовых людей, перешло теперь во всю массу людей образованных и пишущих. Кто не умел или не хотел усвоить себе этих живых уроков недавнего прошедшего, тот уже считается отста-

лым, отчужденным от общего дела, мертвецом между живыми, и его хоронят заживо, несмотря ни на ученость, ни на талант. Да что же иначе и делать с человеком, который сам зарывает талант свой в землю и мертвой буквой убивает жизнь духа? Бог с ними; пусть сочиняют себе надгробные надписи, долженствующие некогда напомнить об их бессмертии. Живой о живом думает, и нынешняя литература стремится изведать жизнь и на практике приложить и проверить истины, привитые общему сознанию достопамятными деятелями прежних лет. Все проникнуто этим духом, и, – повторим еще раз, – хотя во внутреннем содержании литература не подвинулась вперед, круг идей ее не расширился, но круг приверженцев этих идей значительно увеличился; усвоение их стало тверже и полнее. В этом видим мы внешнее развитие литературы, составляющее прогресс ее в последние десять лет, и несомненную, действительную ее заслугу. Она собственною силою сохранила еще свое достоинство от мелких проделок и жалких поползновений, унижавших в другие времена звание писате-

ля. Она собственною силою завоевала себе этот кружок людей, со всею энергией правды и молодости отдавших себя [на служение] правому делу, чтоб [при первой возможности] честно и правдиво послужить ему. В этом уже немалая заслуга, и она может сделаться громадною, если распространение идей добра и правды будет продолжаться таким же образом и если интересы, возбужденные литературою, проникнут наконец в массы народа. Тогда-то нельзя будет не признать великого значения литературы.

Но это все будущее и, без сомнения, довольно отдаленное. Книга же г. Милюкова дает нам повод проследить значение русской литературы в прошедшем. Кстати, здесь же мы можем объясниться с некоторыми книжниками, которые взводят на «Современник» обвинение, будто он совершенно отвергает всякое значение литературы для общества.

Книжные приверженцы литературы очень горячатся за нее, считая прекрасные литературные произведения началом всякого добра. Они готовы думать, что литература заправляет историей, что она [изменяет госу-

дарства, волнует или укрощает народ,] переделывает даже нравы и характер народный; особенно поэзия, – о, поэзия, по их мнению, вносит в жизнь новые элементы, творит все из ничего. В подтверждение своих взглядов они указывают на великие поэмы первых веков человечества, на поэзию индийскую, еврейскую, греческую и на продолжение их в творениях величайших гениев новых времен. «Сколько великих тайн, – говорят они, – поведано миру в великолепных созданиях фантазии юного человечества! Без индийской и персидской поэзии не было бы в человечестве сознания о борении двух начал, добра и зла, во всем мире; без Гомера не было бы Троянской войны, без Вергилия Эней не странствовал бы в Италию, без Мильтона не было бы «Потерянного рая», без Данте – живых представлений ада, чистилища и рая». Не было бы – это в высшей степени справедливо: все эти прекрасные создания принадлежат творческой фантазии младенчествующего народа или увлеченного вдохновением поэта. Но знаете ли что? создания фантазии так ведь и остаются в области фантастических призра-

ков и не переходят в действительность. Несмотря на все величие гомерических рапсодий, героический век, с своими богами и богинями, не явился в Греции во времена Перикла, равно как и в Италии Вергилий, при всем своем красноречии, не мог уже возвратить римлян империи к простой, но доблестной жизни их предков и не мог превратить Тиберия в Энея. Мало того – явления, изображенные во всех названных нами поэмах, и сами по себе-то не имеют действительности и с каждым годом все далее отодвигаются в туманный мир призраков… Увы!

…Мечты поэта!
Историк строгий гонит вас!{4}

Юнона не обольщала Зевса, Афродита не спасала Париса на поле битвы, Афина не обманывала Гектора, Эней не видался с Дидоной, Шива не боролся с Брамой и т. д. Если во всех этих преданиях и есть что-нибудь достойное нашего внимания, то именно те части их, в которых отразилась живая действительность. Самые заблуждения, какие мы в них находим, интересны для нас потому, что

некогда они не были заблуждениями, некогда целые народы верили им и по ним располагали жизнь свою. Оттого-то и нравится нам доселе поэзия древнего мира и некоторые фантастические произведения поэтов нового времени, тогда как ничего, кроме отвращения, не возбуждают в нас нелепые сказки, сочиняемые разными молодцами на потеху взрослых детей и выдаваемые нередко за романы, были, драмы и пр. Там видна жизнь своего времени, и рисуется мир души человеческой с теми особенностями, какие производит в нем жизнь народа в известную эпоху; а здесь ничего нет, кроме праздных выдумок, стоящих в разладе с жизнью и происходящих от фантастического, произвольного смешения понятий и верований разных времен и народов. Так, в музыке нравятся нам нередко дикие аккорды, уклоняющиеся от правил музыкальной гармонии, но удачно выражающие какой-нибудь действительно существующий диссонанс в природе; между тем нам дерет уши, а вовсе не производит приятного впечатления, нечаянно сделанная ошибка, когда артист возьмет одну ноту вместо другой. Де-

лая это сравнение, мы хотим сказать, что поэзия и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависит от поэзии, и что все, что в поэзии является лишним против жизни, т. е. не вытекающим из нее прямо и естественно, все это уродливо и бессмысленно. Что отжило свой век, то уже не имеет смысла; и напрасно мы будем стараться возбудить в душе восхищение красотою лица, от которого имеем только голый череп. Боги греков могли быть прекрасны в древней Греции, но они гадки, во французских трагедиях и в наших одах прошлого столетия. Рыцарские воззвания средних веков могли увлекать сотни тысяч людей на брань с неверными для освобождения святых мест; но те же воззвания, повторенные в Европе XIX в., не произвели бы ничего, кроме смеха. Пиндар воспевал олимпийские игры, и вся Греция благоговейно внимала ему; в наше время никто уже серьезно не воспевает церемониальных процессий и торжеств всякого рода; а если и находились господа, воспевавшие излеровские фейерверки и иллюминации на разные случаи, то они всем показались до того пошлы, что

даже не возбудили смеха{5}. Конечно, не поэзия произвела все эти явления в жизни, а жизнь заставила иначе смотреть на поэзию. Пора нам освободить жизнь от тяжелой опеки, налагаемой на нее идеологами. Начиная с Платона, восстают они против реализма и, еще не понявши хорошенько, перепутывают его учение. Непременно хотят дуализма, хотят делить мир на *мыслимое* и *являемое*, уверяя, что только чистые идеи имеют настоящую действительность, а все являемое, т. е. видимое, составляет только отражение этих высших идей. Пора бы уж бросить такие платонические мечтания и понять, что хлеб не есть пустой значок, отражение высшей, отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлеб – объект, который можно съесть. Пора бы отстать и от отвлеченных идей, по которым будто бы образуется жизнь, точно так, как отстали наконец от телеологических мечтаний, бывших в такой моде во времена схоластики. Бывало, ведь добрые люди пренаивно рассуждали, как это удивительно глаз приноровила природа к тому, чтобы видеть: и зрачки, и сеточки, и оболочка – все, точно на-

рочно, так уж и приделано, чтобы видеть; и никак ведь не хотели сообразить добрые люди, что не потому так глаз устроен, что нам такая крайняя есть необходимость видеть, и видеть именно вверх ногами и в миниатюре; а просто видим мы, и видим так, а не иначе, именно потому, что глаз наш так уж устроен. Или удивлялись, как реки текут: воде, видите, надо всегда вниз бежать, и – непостижимая предусмотрительность природы! – в каждом месте, где река течет, непременно в русле есть склон; ну, вода-то и течет себе свободно... Добрые люди и того не хотели подумать, что река по склону-то именно и течет: не будь его вправо, так она пойдет влево, а не станет дожидаться, покуда под нею склон образуется. Нет, по мнению добрых людей, если Волга течет в Каспийское море, так это потому единственно, что она питает особенное, невещественное, идеальное сочувствие к Каспию, и в силу такой идеи она должна была непременно дойти именно до Каспия, хотя бы целые Альпы встретились ей на дороге.

В естественных науках все подобные аллегории давным-давно оставлены; пора бы по-

кончить с ними и в области литературы и искусства. Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни; по крайней мере так было до сих пор не только у нас, а повсюду. Когда человечество, еще не сознавая своих внутренних сил, находилось совершенно под влиянием внешнего мира и, под влиянием неопытного воображения, во всем видело какие-то таинственные силы, добрые и злые, и олицетворяло их в чудовищных размерах, тогда и в поэзии являлись те же чудовищные формы и та же подавленность человека страшными силами природы. Когда же человек немножко попривык к этим силам и сознал отчасти свое собственное значение, тогда и силы природы стал он представлять антропоморфически, приближая их к себе. Таким образом развивалась поэзия греческая, с своими божествами. В себе человек сознал прежде всего внешние, физические качества – и на первой ступени развития каждого народа являются героические сказания. Сила доставляет одним преимущества, которых лишаются другие; в элемент поэзии входит вос-

певание того, как один победил другого и какие получил трофеи. Трофеи доставляют победителям возможность давить побежденных своим великолепием, а побежденных заставляют склониться пред силою победителя и признать над собой ее права; в поэзии в это время является восторженная ода, воспевающая покорность рабов и вассалов. Но победители забываются и начинают уж слишком теснить побежденных: является ропот, негодование, и в литературе он выражается сатирой, сначала глухой, действующей намеками – в басне, потом более открыто в сатире лирической и драматической. Возбужденное негодование пробуждает, разумеется, в обеих сторонах взаимные опасения, желание уладить дело к выгоде собственной и как можно больше вытянуть для себя от противной стороны. Это обстоятельство заставляет обратить внимание на устройство общественной и семейной жизни, на отношения одних членов общества к другим, и литература склоняется к общественным интересам. Разнообразие этих интересов и успехи борьбы из-за них определяют дальнейшее развитие литерату-

ры. Бывает время, когда народный дух ослабевает, подавляемый силою [победившего класса], естественные влечения замирают на время и место их заступают искусственно возбужденные, насильно навязанные понятия и взгляды в пользу победивших; тогда и литература не может выдержать: и она начинает воспевать нелепые и беззаконные затеи [класса] победителей, и она восхищается тем, от чего с презрением отвернулась бы в другое время. Так было, например, у немцев в начале прошлого столетия, когда хотели заставить их забыть за разными потехами кровавые передряги предшествовавшего времени,

Подобное тому бывало и у других народов. Но как скоро общество или народ очнется и почувствует, хотя смутно, свои естественные нужды, станет искать средств для удовлетворения своим потребностям – и литература тотчас является служительницею его интересов. И голос ее обыкновенно бывает тем резче, тем тверже, чем более силы приобретает в обществе дело, ею защищаемое. Наоборот не бывает; а если иногда и кажется, будто жизнь пошла по литературным убеждениям, то это

иллюзия, зависящая от того, что в литературе мы часто в первый раз замечаем то движение, которое, неприметно для нас, давно уже совершалось в обществе. Иначе и не может быть: откуда вдруг взялись бы, хоть у нас, например, жалобы на злоупотребления чиновников или толки о железных дорогах, если бы в обществе не было давно уже потребности в правосудии и в хороших путях сообщения? [Для того чтобы известная идея высказалась наконец литературным образом, нужно ей долго, незаметно и тихо созревать в умах людей, имеющих прямое, непосредственное соотношение с практическою жизнью.] На вопросы жизни отвечает литература тем, что находит в жизни же. Поэтому направление и содержание литературы может служить довольно верным показателем того, к чему стремится общество, какие вопросы волнуют его, чему оно наиболее сочувствует. Разумеется, все это мы говорим о тех случаях, когда голос литературы не стесняется разными посторонними обстоятельствами. Нельзя, напр., думать, что индийцы спокойно смотрят на неистовства англичан, потому что в ост-

индских газетах не было, некоторое время, резких статей против английских злоупотреблений. Мы знаем, что причина такого странного спокойствия вполне внешняя – запрещение ост-индского генерал-губернатора. Точно так, зная, что в Австрии почти не выходит порядочных философских книг, нельзя полагать, чтобы немцы, живущие в Австрии, от природы лишены были способности философствовать, которою так богаты их единоплеменники, живущие в других государствах. Не выходит же книг потому, что католические монахи зорко за ними смотрят и стараются не допускать их до печати. Но это явления исключительные, возможные только при австрийской подозрительности да при ост-индском произволе;{6} большею же частию общественные жизненные интересы тотчас проявляются в литературе, с большею или меньшею сознательностью и ясностью.

Сознательности и ясности стремлений в обществе литература много помогает, – в этом мы ей отдаем полную справедливость. Чтобы не ходить далеко за примерами, укажем на то, чем полна теперь вся Россия, что

отодвинуло далеко назад все остальные вопросы, – на изменение отношений между помещиками и крестьянами. Не литература пробудила вопрос о крепостном праве; она взялась за него, и то осторожно, не прямо, тогда только, когда он уже совершенно созрел в обществе; и только теперь, когда он уже прямо поставлен правительством, литература осмеливается прямо и серьезно рассматривать его. Но как ничтожно было участие литературы в возбуждении вопроса, столь же велико может быть ее значение в строгом и правильном его обсуждении. Нам уже много раз приходилось слышать от многих просвещенных помещиков, что теперь необходимо, чтобы люди науки и мысли, равно как и люди жизненного опыта, одинаково приняли на себя труд высказать печатно свои замечания о том, как, по их мнению, лучше устроить это дело, столь важное и благодетельное. В этом случае литература незаменима. По нашему мнению, она может принести здесь гораздо более пользы, чем даже открытые публичные совещания. Совещания эти во всяком случае должны иметь более или менее частный ха-

рактер, и, кроме того, в них слишком много страстности, импровизация нередко заменяет строго последовательное рассуждение и решение. Литературные рассуждения имеют характер всеобщности: их может читать вся Россия. Кроме того, в литературном изложении пыл первого увлечения непременно сглаживается, и место его необходимо заступает спокойная обдуманность, хладнокровное соображение мнений разных сторон и вывод строго логический, свободный от впечатлений минуты. Здесь роль литературы чрезвычайно важна, и великость ее значения ослабляется в этом случае только малостью круга, в котором она действует. Это последнее – такое обстоятельство, о котором невозможно без сокрушения вспомнить и которое обдает нас холодом всякий раз, как мы увлечемся мечтаниями о великом значении литературы и о благотворном влиянии ее на человечество.

В самом деле, мы впадаем в страшное самообольщение, когда считаем свои писания столь важными для народной жизни; мы строим воздушные замки, когда полагаем,

что от наших слов может переменяться ход исторических событий, хотя бы и самых мелких. Конечно, приятно и легко строить воздушные миры

И уверять и спорить,
Как в них-то важны мы!{7}

Но сделайте маленький, беспристрастный расчет, и вы увидите, как велико ваше самообольщение. У лучших наших журналов, в которых сосредоточивается вся литературная деятельность, насчитается до 20 000 подписчиков, столько же будет и у газет (хотя подписчики на журналы обыкновенно подписываются и на газеты). Если на каждый экземпляр положить 10 читателей, то окажется 400 000. Можно порадоваться такой цифре, забыв на минуту, что она преувеличена. Но скажите, что же значат эти сотни тысяч пред десятками миллионов, населяющих Россию? Как же живут эти остальные 64 600 000, не читающие наших газет и журналов? Участвуют ли они в тех рассуждениях о возвышенных предметах, какие мы с такою гордостию стараемся поведать миру? Интересуют ли их на-

ши художественные создания, которыми мы восхищаемся? Находят ли они отраду в тех живых мыслях, какие мы высказываем, в наших литературных обличениях, общественных вопросах, поднятых во имя целого человечества? Знает ли это человечество, что мы о нем хлопочем, что мы лезем из кожи, готовы подраться между собой, споря о его благосостоянии?.. [Знают ли крестьяне села Безводного или Многоводного, Затишья или Залесья, что их исправники, становые и управители давно уже преданы суду общественного мнения – в литературных очерках, картинах, воспоминаниях и т. п.? Знают ли они все это и чувствуют ли облегчение своей участи под благотворным влиянием литературы? Да и сами-то исправники, становые и управители знают ли о литературном судилище? Многие слыхали, вероятно, а иные, может быть, и сами читали; но большая-то часть, вероятно, не читала. Да и когда им читать? Им надобно службой заниматься; бросить служебных занятий нельзя, потому что они выгоду доставляют; а читаньем ведь сыт не будешь. Если же и случится прочитать кое-что, так каждый

поймет по-своему и примет к сведению то, что наиболее приближается к его понятиям.] Можно предполагать, что число негодяев и мошенников, исправленных литературою, крайне ограничено. Кажется, мы не ошибемся, если на сто тысяч общего числа читателей положим одного исправленного негодяя (да и то мы боимся, чтобы читатели не осердились на нас за то, что мы предполагаем в их числе таких нехороших людей; но просим извинения, оправдываясь пословицею: в семье не без урода). Следовательно, все эти столь многие сотни литераторов, проникнутых горячею любовью к добру и еще более горячею ненавистью к пороку, все эти доблестные фаланги мирных рыцарей слова должны ограничить круг своих подвигов только *четырьмя* обращениями (да и то сомнительными, заметит читатель). Ту же самую ограниченность круга действий нужно заметить и в тех отделах литературы, которые имеют предметом распространение знаний. Напр., сколько было у нас толков о воспитании и обучении. Толковали преимущественно о школьном воспитании. А сколько народу у нас учится в школах? Все-

го-навсего, во всех ведомствах и на всех степенях обучения, с небольшим 350 000 мальчиков да девочек 40 000. Из всего числа их статьи о воспитании были прочитаны, разумеется, только несколькими студентами. Да они, правда, не для воспитанников и назначались, а для учителей. Учителей у нас тысяч 15 (на всю-то Россию!), и можно полагать, что десятая часть из них прочитала то, что было писано о недостатках современного воспитания и обучения. Из этой десятой части половина, наверное, знала еще гораздо раньше то, на что наконец указывает литература; а из остальных одни прочитали и не согласились, а другие согласились, да поняли по-своему, и хорошо, если хоть десятая доля поняла все как следует. Из понявших же, вероятно, не более, опять, как десятина приняла на себя труд приложить писанные мудрости к делу, да из них, дай бог, чтобы хоть десятая часть имела успех. Таким образом, и окажется только полтора человека, в практической деятельности которых проявится благодетельное влияние литературы. Результаты не до такой степени блистательные, чтобы за них сочинять себе

триумфы, соплетать венки и воздвигать памятники! Напрасно также у нас и громкое название *народных* писателей: народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений Державина и т. д. Скажем больше: даже юмор Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже он и грамоте выучится: он должен заботиться о том, как бы дать средства полмиллиону читающего люду прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишут для удовольствия читающих. Забота немалая! Она-то и служит причиною того, что литература доселе имеет такой ограниченный круг действия. Не навязывай мы народу заботы о нашем прокормлении и о всяком нашем удовольствии, так, конечно, мы же были бы в выигрыше: наши просвещенные идеи быстро распространились бы в массах, и мы стали бы иметь больше значения, наши труды стали бы ценить выше. Но, к сожалению, литература, т. е. ее восхвалители и многие деятели находятся в горьком самообольщении,

из которого трудно извлечь их. Изобразивши художественным образом красу природы, неба, цвет розово-желтый облаков, или совершивши глубокий анализ какого-нибудь перегороженного сердца, или трогательно рассказавши историю будочника, вынувшего пятак из кармана пьяного мужика, литератор воображает, что он уж невесть какой подвиг совершил и что от его создания произойдут для народа последствия неисчислимые. Напрасно; создание это, во-первых, и не дойдет до народа, а во-вторых, если и дойдет, то нимало не займет его и не принесет ему пользы. Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги. Мы действуем и пишем, за немногими исключениями, в интересах кружка, более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности. Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с общесправедливой, а с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно видах частных интересов той

или другой партии, того или другого класса. В нашей литературе это последнее обстоятельство еще не так заметно, потому что вообще у нас в прежнее время мало толковали о народных интересах; но в литературах западных дух парциальности выставляется несравненно ярче. Всякое явление историческое, всякое государственное постановление, всякий общественный вопрос обсуживается там в литературе с различных точек зрения, сообразно интересам различных партий. В этом, конечно, ничего еще нет дурного, – пусть каждая партия свободно выскажет свои мнения: из столкновения разных мнений выходит правда. Но дурно [вот что: между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе]. Так, напр., множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела, и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной, – всех не перечтешь. Но много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в

известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.? Политическая экономия, гордо провозглашающая себя наукою о *народном* богатстве, в сущности заботится только о возможно выгоднейшем употреблении и возможно скорейшем увеличении капитала, следовательно, служит только классу капиталистов, весьма мало обращая внимания на массу людей бескапитальных, не имеющих ничего, кроме собственного труда. Несколько голосов поднималось, правда, во Франции в защиту этих беспомощных людей от одностороннего могущества капитала{8}, но капиталисты назвали эти голоса безумием и сочинили против них великое множество систем, в которых строго-логически доказывали, что никто не имеет права запретить им приумножать свои капиталы посредством труда людей бескапитальных. Да уж что говорить о науках! Даже поэзия, всегда столь сочувствовавшая всему доброму и прекрасному и презиравшая мелкие, своекорыстные расчеты, даже поэзия постоянно увлекалась духом пар-

тий и классов и только в немногих частных явлениях возвышалась до точки зрения чисто человеческой, превышающей частные интересы кружков или каких-нибудь особенных личностей. Она избирала всегда возвышенные идеи, возвышенные личности, далеко выдающиеся из толпы, и редко спускалась до простого люда. У греков это еще было так себе, ничего; потому что и жизнь у них была устроена особенным – образом, так что масса народа не исключалась из участия в общем ее ходе. Поэтому и в литературе их, хотя возвышеннейшие роли играются богами, полубогами, царями и героями, с другой стороны, и народ является нередко в виде хора, играющего роль здравомысла и хладнокровно обсуживающего преступления и глупости [главных] действующих лиц пьесы. В начале греческой поэзии видим мы, правда, взбалмошных Менелаев и Агамемнонов да сладострастных Парисов, из-за которых народы проливают кровь свою; но во время высшего развития греческой цивилизации являются и Аристофановы поселяне. Вообще в греческой поэзии интересы народа уважались еще несколько.

Но в Риме находим уже не то: там уже развивается односторонняя государственная идея, и человек имеет значение только как принадлежность Рима. Там уже не трогают страдания народа, не занимают его интересы и радости. Римская поэзия воспевает отвлеченные возвышенные идеи да сильных мужей, вроде того, который не побледнеет, если весь мир станет пред ним разрушаться. Это отталкивающее преклонение пред бесчеловечием мертвит всю поэзию Рима, и человеческое чувство пробуждается в ней почти только для эпикурейских наслаждений. Даже сатира имеет там характер вовсе не гуманный, а или отвлеченный, или лично раздражительный. При императорах народ особенно подвергся презрению; даже слово vulgaris (vulgaire, собственно: народный) приняло значение пошлого, даже неприличного. В средних веках продолжается та же история, только в более грубом виде. Барды, прославляющие подвиги победителей, да трубадуры и менестрели, воспевающие воинскую доблесть, знатное происхождение и неестественно возвышенные чувства, овладевают всей поэзией. Народ

награждается полным презрением; ему за милость только дозволяют любоваться подвигами знатных рыцарей, а уж если придется простому человеку угостить рыцаря, так это такая честь, от которой он весь век должен быть счастлив. В первое время преобладание физической силы было так громадно, страх, нагнанный победителями на побежденных, так был силен, что сам народ как будто убеждался в том, что все эти высокородные бароны и ордалы всякого рода – особы священные, высшей породы, и что он должен чтить их с трепетом и вместе с радостью. Не одни сановные трубадуры, ездившие с оруженосцами, жонглерами и всякими приспешниками, не одни придворные паразиты, а сам народ наивно воспевал героев, «погубивших более народа, чем жесточайшая чума», и «величавые, недоступные дворцы, у ворот которых стояли львы, как живые, будто готовые поглотить всякого, кто, не приглашенный, дерзнет приблизиться к великолепному жилищу». Скоро, впрочем, народ воспользовался иначе орудием, которое дали ему в руки: в XV веке он решительно изменяет тон и слагает злейшие са-

тиры на своих притеснителей и на тех, от которых он прежде ждал спасения, но в которых жестоко обманулся, – на католических духовных. У народов Западной Европы до сих пор сильно распространен этот род поэзии, но настоящая, светская, аристократическая литература пренебрегает такой поэзией. Она имеет другие стремления, другой характер: ей нужно сочувствие известных кружков общества, полных своими обыденными заботами и вовсе не беспокоящихся о том, что делалось и делается в остальном человечестве, за пределами их тесного круга. Интересы этих кружков и отражаются в поэтических созданиях новых народов. Если же когда вздумается литератору взглянуть и на свои отношения к массе, то он взглянет на это непременно по-своему, с точки зрения собственных интересов. С течением времени, разумеется, все больше и больше начинают обращать внимание на требования масс, иногда литература и расшумится, если произойдет какое-нибудь заметное столкновение интересов различных классов в самой жизни. Но способ рассуждения, употребляемый в подобных случаях,

обыкновенно напоминает графа де-Местра и его книгу о папе{9}. Граф, как набожный католик и отставной пьемонтский сенатор, рассуждает очень мило. «Народы страдают, – говорит он, – от произвола, жестокости и насилий светской власти; нужно противодействие этой власти. Но сам народ глуп, груб, безнравствен, подл и потому противодействия составить не может. Единственно возможное и действительное средство для его спасения и охранения состоит в том, чтобы обратиться к святейшему папе и признать над собою его духовную и светскую власть...» В таком же роде и современные, хоть бы французские, писатели сочиняют: один мелодраму – для доказательства, что богатство ничего не приносит, кроме огорчений, и что, следовательно, бедняки не должны заботиться о материальном улучшении своей участи; другой роман – для убеждения в том, что люди сладострастные и роскошные чрезвычайно полезны для развития промышленности и что, следовательно, люди, нуждающиеся в работе, должны всей душою желать, чтобы побольше было в высших классах роскоши и расточитель-

ности и т. п.

Редко, и то у высших гениев поэзии, являлась чистая любовь к человечеству, не возмущаемая интересами партий. Еще в невежественной Европе XVI века раздались знаменательные слова: «Человек был он»{10}, – и в них выразилось сознание гения о достоинстве человека. В эпоху, близкую к нашей, другой гений той же нации, называемый обыкновенно ненавистником человечества, сказал пророчески, что «пройдет на земле царство меча и невозможны будут поработители»{11}. Злобными сарказмами мстил недавно торжествующим партиям за германский народ Генрих Гейне, полагавший весь смысл искусства и философии в том, чтобы пробуждать от сна задремавшие силы народа. Все горести и труды бедняков нашли себе живой и полный отголосок в песнях национального французского поэта, которого недавно парижское правительство похоронило с такой официальной торжественностью.

В своем поэтическом понимании общих нужд и стремлений человечества Беранже возвысился до таких стихов:

Le pauvre a-t-il une patrie?
Que me fonf vos vins et vos blés,
Votre gloire et votre industrie,
Et vos orateurs assemblés![1]

Но немного подобных стихов в европейских литературах; немногие поэты возвышались над интересами кружков и решались отказаться от воспевания отвлеченных добродетелей – храбрости, решительности, верности, терпения и т. п., или от сияющих игрушек вроде великолепных мостов, зданий, фейерверков и пр., или, наконец, личных ощущений при взгляде на звезды, при прогулке вдвоем, при посещении музея и т. п. Возвыситься над мелкими интересами кружков, стать выше угождения своекорыстным требованиям меньшинства, к сожалению, не умела еще до сих пор ни одна европейская литература.

Это невольное отступление, сделанное нами по поводу ограниченности круга действия русской литературы, приводит нас теперь именно к тому, с чего мы хотели начать нашу статью, – к рассмотрению содержания и характера, успевшего проявиться в истории

нашей литературы. Выше мы заметили, что у нас не так заметно выказывался характер парциальности, развившейся в литературах Западной Европы. Слова эти требуют пояснения. Мы вовсе не хотели ставить нашу литературу выше всех европейских, вовсе не думали приписывать ей небывалого беспристрастия и широты взгляда, отрешения от частных интересов в пользу общих, высшее сознание человеческого достоинства и т. п. Совсем нет; мы хотели только сказать, что так как у нас до сих пор литература не считалась важной и существенной принадлежностью жизни, то по большей части никто и не думал делать ее орудием своих планов, никто не обращал внимания на то, служит ли литература каким-нибудь партиям и каким именно, к чему она расположена, против чего восстает. Все очень хорошо понимали, что мало кто может у нас соображаться с тем, что говорится в книгах, и что ход нашей жизни зависит не от писанных убеждений, до которых никому нет дела, а от вещей гораздо более существенных, имеющих непосредственное отношение, по пословице, к *своей рубашке* каж-

дого. Поэтому-то никто и не заботился о духе и направлении литературы, и в ней не выразилось такого заметного увлечения духом различных партий, как на Западе. Но нельзя же было оставаться ей без всякого направления; нужно же было выразить какие-нибудь стремления и понятия: без этого не может обойтись ни одно произведение мысли человеческой. Всего ближе, разумеется, было выразиться в литературе интересам и мнениям тех, в чьих руках было книжное дело, и тех, в ком оно находило хоть маленькую поддержку и опору. Так и случилось.

Во время языческой древности у русских, как и у всех славян, существовала уже поэзия народная. Не зная древней языческой русской поэзии в ее настоящем, неиспорченном виде, мы можем судить о ней только по аналогии с поэзиею других славянских племен и по намекам, сохранившимся в том, что до нас дошло от русской древности в изменениях позднейшего времени. Сравнительное изучение поэзии славянских народов привело многих к полному убеждению в том, что в древности выражались в ней действительно общенарод-

ные интересы и воззрения на жизнь. Это, разумеется, и было совершенно естественно при господстве патриархальных отношений, когда еще не существовало ни малейшего разлада между жизнью семейною и государственною, а напротив, они сливались в одно нераздельное целое. Что может быть проще и естественнее того, что

Всяк отец в дому своем владыка:
Мужи пашут, жены шьют одежду;
А умрет глава всех домочадцев,
Дети всем добром сообща владеют,
Выбрав старшину себе из рода,
Чтоб ходил, для пользы их, на сеймы.
Где с ним кметы, лехи и владыки
[2].

Когда жизнь устроена еще таким образом, то, само собою разумеется, поэзия непременно должна выражать народные интересы. Но, к сожалению, почти ничего не имеем мы от той древности, когда кметы рассуждали с лехами и владыками на общественных сеймах.

По всей вероятности, и рассуждали-то они плохо, потому что мало имели образования, слишком сильно еще были подавлены внешними влияниями. Рассуждениям их недоставало много для того, чтобы удовлетворить всех и чтобы быть вполне справедливыми и разумными. Не было у них пособия ни в жизненной опытности прошедших веков, ни в знании природы и уменье владеть ею, ни в знании мира души человеческой. Круг их зрения был узок, они ходили ощупью, делали неурядицу, и, не понимая выгод своего положения, сами должны были искать исхода из тех беспорядков, к которым сами себя привели. Исход нашелся, конечно, такой же, как и везде, – несколько лехов сказали бестолковым кметам: «Вы ничего не понимаете и делаете только глупости, предоставьте все нам и делайте то, что мы прикажем». По врожденной человеку лени и по сознанию своего бессилия, кметы с радостью согласились и даже начали сочинять песни во славу мудрых и сильных лехов, умевших водворить между ними тишину и порядок. Тут-то народная поэзия и должна была изменить свой характер,

сообразно с новым устройством жизненных отношений. Но и при этом изменении остались следы общего характера прежней поэзии: народные песни не скоро потеряли свой простой, естественный характер, не скоро увлеклись чуждыми интересами, и до сих пор в них замечают следы первоначальной простоты естественных условий быта. В этом отношении славянская народная поэзия имеет даже преимущество пред прочими европейскими: в ней более песен бытовых и менее воинственных, рыцарских повествований, да и те, какие есть, относятся большею частью к позднейшим эпохам, когда уже и народ приучился ко множеству односторонних отвлеченностей. Вообще же, по отзыву одного из любителей-славянистов (Бродзинского), «в славянских народных песнях выражаются люди не властолюбивые, жестокие, страстные ко всему необыкновенному, привязанные к мечтам собственного воображения, но люди, далекие от желаний причудливых и странных, от страстей буйных и насильственных», и пр. Суждение это вполне может быть применено к русской народной поэзии. По на-

шему мнению, в ней заключается много доказательств того, что в народе нашем издревле хранилось много сил для деятельности обширной и полезной, много было задатков самобытного, живого развития. В этом случае мы не можем согласиться с г. Милюковым, который все безобразие русских сказок и песен складывает на народность и говорит, что от нее нечего было ожидать без коренной реформы. Мы думаем, что нет у нас достаточно данных для того, чтобы обвинять народность в безобразиях поэзии и даже самой жизни, и есть, напротив, данные, позволяющие видеть причину их в обстоятельствах, пришедших извне. Народная поэзия, как видно, долго держалась своего естественного, простого характера, выражая сочувствие к обыденным страданиям и радостям и инстинктивно отвращаясь громких подвигов и величавых явлений жизни, славных и бесполезных. На деле народ должен был терпеть их и даже принимать в них участие, но в поэзии его нет ни малейших следов хоть какого-нибудь сочувствия к подобным явлениям. В этом отношении нам кажется любопытною заметка г. Бо-

дянского (в сочинении «О славянской народной поэзии», стр. 124), в которой он говорит об участии народа в удельных ссорах князей. «Народ не брал к сердцу их счетов между собою, – говорит он, – не интересовался их выгодами и потерями; ему все равно было пустошить землю, взять на щит городок и т. п., под стягом ли Олеговичей или Мономаховичей. Это была деятельность, не склонявшая в свою пользу сердца ратовавших, деятельность, так сказать, машинальная. Доказательством служит то, что народ не почтил этих усобиц ни одной своей песней, никаким почти преданием, ни малейшею, хоть бы глухою, темною молвой». Это замечание, высказанное слишком двадцать лет тому назад, до сих пор не опровергнуто ни одним фактом, несмотря на множество вновь изданных с тех пор памятников и исследований. В самом деле, можно полагать, что до самой татарской эпохи народ держал себя совершенно равнодушно в отношении к политическим событиям Руси, имевшим со времени Владимира большею частию династический интерес. Только во времена бедствий родной земли вспомнил он минув-

шую славу и обратился к разработке старинных преданий, оставшихся, конечно, еще от времен норманнов. Тут он начал организовывать разбросанные сказания, перепутал лица, местности и эпохи и целый трехсотлетний период сгруппировал около лица одного Владимира, бывшего ему памятнее других. Возбуждалась любовь к этим песням, конечно, горьким чувством при взгляде на современный порядок вещей. При нашествии народа неведомого ожидания всех обратились, разумеется, к князьям: они, которые так часто водили свой народ на битву с своими, должны были теперь защищать родную землю от чужих. Но оказалось, что князья истощили свои силы в удельных междоусобиях и вовсе не умели оказать энергического противодействия страшным неприятелям. Они бегали от монголов, пока не узнали, что они не вмешиваются во внутреннее управление и довольствуются собиранием подати. Тогда они признали себя данниками монголов, и народ узнал, что он стал татарским улусом и что подати на нем прибавилось. Горько было настоящее положение народа, обманутого в своих

ожиданиях; он невольно сравнивал нынешние события с преданиями о временах давно минувших и грустно запел про славных могучих богатырей, окружавших князя Владимира. Песня эта была сначала горьким упреком настоящему, а потом, доставляя народу забвение и даже утешение, стала увлекать его и заставляла применять прежние события к современному течению дел. Таким образом, богатырей Владимировых заставили сражаться с татарами и самого Владимира сделали данником «грозного короля Золотой орды, Этмануйла Этмануйловича». Дальнейшие искажения объясняются также легко: в живой действительности народ не видел никакого средства управиться с своими поработителями и должен был безмолвно склониться пред их силою. Но тяжела ему была эта покорность, и он все не оставлял мечтать о средствах освобождения. Чем далее эти мечты были от действительности, тем более они принимали детский характер: в них являлись и волшебники, и оборотни, и неестественных размеров богатыри, и разумные кони, и наговоры еретические. А когда попались эти песни в ру-

ки книжникам, то и последнюю жизненность потеряли под их риторическими прикрасами. Но влияние книжной литературы на народную словесность заслуживает более подробного разбора. Г. Милюков, к сожалению, не сделал этого, и потому его статья о народной поэзии русской не имеет окончательной полноты. Мы скажем здесь об этом несколько слов, которые кажутся нам не лишними для того, чтобы яснее понять причины и свойства разлада, постоянно господствовавшего у нас между литературою книжною и словесностью народа. Наша книжная словесность, начавшаяся со времен Владимира, не была, как всем известно, произведением национальных элементов, а была перенесена к нам с чужа. Мало того, она явилась к нам не вследствие того, что в народе явилась потребность заимствования чужой образованности, а просто по случайному обстоятельству. Простодушный рассказ Нестора убеждает нас неопровержимо, что народ во времена Владимира еще не созрел для той высшей цивилизации, которая при нем принесена была на Русь вместе с божественным учением христи-

анства. [Сам Владимир отослал от себя магометан болгарских только потому, что ему не понравилось обрезание и запрещение пить вино, а немцев – потому, что «отцы наши этого не приняли». Бояре, посланные для испытания вер, вовсе не думают о внутреннем их содержании и достоинстве, а обращают внимание только на внешность: болгарская служба им не понравилась, у немцев не нашли они никакой красоты, а от Византии были в восторге, потому что там, по наивному рассказу Нестора, патриарх, услышав об их прибытии, – «повеле создать крилос, по обычаю сотвориша праздник и кадила возжгоша, пения и лики составиша; и иде с ними в церковь, и поставиша я на пространьне месте, показающе красоту церковную, пения и службы архиерейски» (Нестор, под годом 6495). А другие бояре, не стоявшие на месте пространьне во время архиерейского служения, тоже подали голос в пользу Византии, но уже отказываясь решительно от собственного мнения в таком важном деле, а ссылаясь просто на авторитет Ольги. Владимир удовлетворился их мнениями. Если же князь и бояре

действовали таким образом, то, разумеется, и странно было бы ожидать от народа какого-нибудь сознательного убеждения.] Через столетие после самого события один, без сомнения, из просвещеннейших людей тогдашней Руси – Нестор летописец – и тот еще не понимал необходимости внутреннего убеждения в подобных случаях. Он находит совершенно естественным, что накануне неверные люди плачут о Перуне, которого бросили в Днепр, и кричат ему: «Выдыбай, боже!», а на другой день слышат приказ: «Аще не обрящется кто на реце, богат ли, ли убог, или нищ, ли работник, противен мне да будет», и с радостью идут на реку, говоря: «Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре прияху». Рассматривая этот случай беспристрастно, можно приложить к нему то же самое мнение, какое высказано г. Бодянским об участии народа в междоусобных ссорах князей. А между тем Нестор заключает свой рассказ тем, что «бяша си видети радость на небеси и на земли, толико душ спасаемых, а дьявол стеня глаголаше: увы мне, яко отсюда прогоним есмь» (Нест., 6496 г.).

Все это неопровержимо доказывает, что народ не был предварительно приготовлен к принятию тех высоких истин, которые ему предлагались, и не в состоянии был еще воспользоваться, как следует, благодеяниями новой цивилизации, входившей в Русь вместе с христианством. Для полнейшего убеждения в этом нужно вспомнить продолжение того же рассказа Нестора – о том, как вели себя русские люди в отношении к новой цивилизации. Владимир, говорит летописец, начал поставлять церкви, разрушать кумиры, ставить попов и «нача поимати у нарочитое чади дети и даяти нача на ученье книжное; матере же чад сих плакахуся по них: еще бо не бяху ся утвердили верою, но яко по мертвеци плакахуся». Нисколько не сочувствуя, конечно, отвращению народа от ученья, нельзя, однако же, с грустию не согласиться, что факт этот не подлежит ни малейшему сомнению и что даже в наше время в простом народе он не утратил своего значения. Ни самого ученья, ни тех, которые боятся его, обвинять тут нечего, да и вообще здесь никого обвинять нельзя, кроме разве несовершенства рода человече-

ского, которое всегда мешает истории идти, как бы нам хотелось теперь, при наших просвещенных воззрениях. Разумеется, если бы русские были более образованны во времена Владимира, более приготовлены самою жизнию к отвержению своих языческих понятий и верований, то последствия мер, произведенных Владимиром, были бы несравненно благотворнее. Но что же делать, если этого не случилось? Нельзя сердиться на это, а можно только отметить факты, последовавшие затем и имеющие непосредственную связь с положением образованности русского народа при Владимире. Факты эти, правда, неутешительны; но пропустить их нельзя, потому что они слишком резко обозначились и в жизни, и в поэзии народной и не истребились до сих пор. Мы говорим о множестве суеверий и предрассудков, доныне охватывающих всю жизнь крестьянина и составляющих несомненный остаток языческих верований. Эти суеверия тем глубже вкоренились в народной жизни, что они издавна перемешались с христианскими воззрениями и таким образом как будто получили некоторую законность на

взгляд простолюдина. Такого смешения, разумеется, не могло бы быть, если бы высокие истины христианства с самого начала были хорошо поняты в народе и если бы он сам дошел до сознания ложности язычества. Тогда и успехи цивилизации в массах народа были бы быстрее, и ход развития был бы правильнее, потому что не было бы двойственности в началах, управлявших жизнью и деятельностью народа. Теперь эта двойственность должна была проявиться в размерах весьма обширных. С одной стороны, новое учение должно было проникать постепенно в сознание народа, и о внушении его должны были стараться те лица, в руках которых находилась власть над народом; с другой стороны, языческие понятия и предания были слишком сильно вкоренены во всех проявлениях народного быта и оказывали сильное противодействие новым началам. Возникло неизбежное противоречие в народной жизни, и оно, самым естественным образом, должно было привести к тому, что имевшие в руках своих силу воспользовались ею для того, чтобы доставить торжество своим началам. Мы

не имеем положительных известий об этом от первых времен христианства в России; но последующее время постоянно дает нам аналогические факты, подтверждающие мысль, что так велось и с самого начала. В конце XI столетия «Правило» Иоанна митрополита восстает против волхвования и языческих обычаев; в половине XII в. обличаются суеверия языческие в «Вопрошаниях Кирика к Нифонту»; в XIII в. Серапион обличает их. Начиная же с XIV в. сохранилось множество окружных посланий и грамот, запрещающих «бесовские игрища» с песнями. Обличения пастырей против смешения языческих понятий с христианскими не прерывались до времен Тихона Воронежского [которого поучения против Ярилы и т. п. отличаются жестокою нетерпимостью]. К несчастию, все их усилия не были в состоянии возвысить народ до совершенно чистых и правильных понятий о христианской религии. Нужно было употребить другое средство заставить народ по крайней мере отставать хоть понемногу от привязанности ко всему язычеству. Для этого надобно было действовать запрещениями,

направленными против всего, что носило на себе отпечаток язычества. Очевидно, что такое положение дел не могло быть благоприятно для развития народной поэзии, родившейся у славян тоже на языческой почве. Их древние предания должны были заглохнуть среди новых условий быта или измениться сообразно с этими условиями. Заглохнуть совершенно они не могли, потому что народ, не имеющий еще письменной литературы, и притом народ славянский, не мог оставаться без устной поэзии. Но сохранить свою первоначальную чистоту и свежесть эта поэзия тоже не могла, потому что новые понятия неизбежно примешивались к кругу прежних верований и изменяли характер произведений народной фантазии. Книжная словесность, вынесенная к нам из Византии, старалась, конечно, внести в народ свои идеи, но, как чуждая народной жизни, она могла только по-своему искажать то, что было живого в народе, и не в состоянии была, ни проникнуться истинными его нуждами, ни спуститься до степени его понимания. Что книжная словесность хотела сделаться близкою к народу, это

доказывается множеством духовных стихов, которые носят на себе самые яркие следы кйижного влияния. Об этих стихах г. Милюков совершенно справедливо говорит, что они «принесены к нам первоначально из Греции и остались совершенно чуждыми народу, который, слушая слепых нищих, не заимствовал у них ни одной песни и не знал, о чем они поют». Без всякого сомнения, размножение у нас духовных стихов не было случайным явлением, равно как не могло оно быть и явлением, естественно возникшим вследствие потребности самого народа. Необходимо предположить, что учители наши, прибывшие из Византии, старались о том, чтобы привить народу чуждые ему предания, и даже прибегали для этого к самим преданиям народным, переделывая их на свой лад и примешивая к ним то, что считали нужным. Самым ярким примером может служить «Сказание о Мамаевом побоище» в сравнении с «Словом о полку Игореве»{12}. Сравнительный разбор этих двух произведений очень хорош у г. Милюкова, и мы привели бы его здесь, если б он не был слишком обширен (стр. 15–24). В нем

весьма ярко выставляются прибавки позднейшего книжника, человека, принадлежащего к клиру и потому старавшегося заменить народные воззрения своими понятиями, более или менее чуждыми народу и доселе. Известно, что в «Слове о полку Игореве» вполне господствует языческое миросозерцание: предзнаменования, сны, обращение к природе, – все это противно духу христианства. А между тем составлено это сказание могло быть не ранее конца XII в., – вот доказательство, как мало новые понятия успели укорениться в умах народа даже в течение двух столетий. Но еще через два столетия книжник, вовсе не знавший народа, вздумал воспользоваться канвою народного эпического сказания для применения ее к другому событию, в котором бы мог выразиться другой взгляд на мир и на жизнь. И вот иерей Софроний пишет{13}, как Мамай попущением божиим, от научения диавола, идет казнити улус свой, Русскую землю; как великий князь Димитрий прежде всего обращается за советом к митрополиту Киприану; как тот советует *«утолить* Мамая *четверицею* (т. е. дать ему

вчетверо больше того, что прежде давалось), дабы не разрушил христовой веры»; как Димитрий получает благословение двух воинов-монахов от св. Сергия; как он припадает с молитвою слезною к чудотворным иконам; как пред битвою вкушает присланной ему от св. Сергия просфоры; как участь сражения решается святою помощью Бориса и Глеба. Во всей повести господствует строго благочестивый взгляд, и повсюду предвещания и дива языческие заменены знамениями и чудесами христианскими. Ясно, что новые верования много бы выиграли от подобного образа действий, если бы книжные учители древней Руси при своем благочестии владели еще умением постигнуть дух народный и имели бы сколько-нибудь поэтического такта. К сожалению, этого не было у них; в поэтических произведениях древних книжников господствует вялость, мертвенность, отвлеченность, отсутствие всякой поэзии. Оттого-то они и не проникли в народ, а с тем вместе и идеи, вставленные в них, распространялись очень слабо. Тем не менее народная поэзия не могла уже остаться неприкосновенною, и поздней-

шие наросты ясно видны в том, что по основе своей должно относиться к древнейшему времени. Очень жаль, что г. Милюков мало принял в соображение те изменения, какие должны были произойти в народных, особенно в исторических, песнях с течением времени, и всю их грубость, и все недостатки отнес на счет древней русской жизни, не определяя, какую именно древность он разумеет. Поэтому некоторые явления древней русской поэзии поняты им, кажется, не совсем верно. Напр., он, говоря, что в исторических песнях русских есть даже попытки на изображение характеров, указывает для примера на лицо Владимира, которое будто бы имеет сходство с историческим Владимиром. С этим мы никак не можем согласиться. В личности Владимира, по нашему мнению, более, нежели в чем-нибудь, выразилось византийское влияние на нашу народную поэзию. Не такими представлял народ наш своих князей, близких к норманскому периоду; это мы видим в народных преданиях, записанных Нестором. Вспомним величавый образ Святослава, храброго, деятельного, разделяющего с подданны-

ми все труды и недостатки, заботящегося о богатстве земли своей, говорящего: «Не посрамим земли Русския, – ляжем костьми ту». Вспомним и позднейшее изображение князя Игоря в «Слове», мало подвергшемся книжной порче: и он, подобно древним князьям, является храбрым и деятельным; он сам идет во главе своего войска в чужую землю, чтобы отомстить врагам за обиду земли Русской; он не смущается пред опасностями и говорит: «Лучше потяту быти, неже полонену быти...» Не таким является Владимир в наших народных сказаниях. В нем нет и признаков русского князя; это не что иное, как византийский владыка или вообще восточный правитель, недоступный для народа, стоящий от него на недосягаемой высоте, счастливый избранник судьбы, не имеющий другого дела, кроме пиров и веселья. В народных песнях Владимир постоянно является пирующим. Почти каждая песня начинается тем, что у «ласкова князя Владимира было пированье – почестной пир, было столованье – почестной стол». Князь Владимир потешается на этом пире, и, что бы ни случилось, он ничего другого не де-

лает, как только «по светлой гридне похаживает да черные кудри расчесывает». Являются во время пира его служители, израненные, «булавами буйны головы пробиваны», с известием о каких-то неведомых людях, появившихся на княжеской земле, а князь пьет, ест, прохлаждается, их челобитья не слушает. Нападает на Киев Калин-царь, Владимир «весьма закручинился, запечалился, повесил буйну голову и потупил очи ясные» оттого, что «нет у него стоятеля, нет сберегателя...» Приезжает Илья Муромец с Соловьем-разбойником и велит ему свистнуть в полсвиста, а князя Владимира, вместе с его княгинею, берет под пазуху, чтобы они не упали от свисту соловьиного. А в другой песне князь Владимир и *«окорач ползет»* от сильного свисту конского... Есть ли во всем этом хоть какое-нибудь сходство с чисто русским, собственным, народным представлением князей? Есть ли что-нибудь подобное вообще в славянских песнях, не подвергшихся восточному влиянию? Как хотите, сваливать подобные представления на коренную русскую народность невозможно. Они могли явиться только в поздней-

шую эпоху, принесшую к нам много восточных понятий, усердно распространявшихся в народе книжниками, которые столь же плохо понимали требования поэтической истины, как и нужды русского народа. Невозможно сомневаться, что значительная доля искажений в русской народной поэзии произведена была – намеренно или ненамеренно – именно этими книжниками.

С течением времени народная поэзия все теряла свое значение, слабела и глохла, а книжная словесность принимала все более широкие размеры и вторгалась с своими определениями во все отделы народной жизни. Но в ней не было жизненной силы, она не могла проникнуть в самый дух народа и должна была ограничиться только внешностью, формой. С самого начала, не понявши народного характера, она стала совершенно чуждою народности русской и заключалась в тесной сфере своих схоластических определений. В этой схоластической отвлеченности держалась она невозмутимо до тех пор, пока жизнь Руси тянулась молчаливо и однообразно, без прогресса, без самобытного развития,

под неурядицей удельных междоусобий, под игом татар, под влиянием неустановившихся государственных отношений... Отличительною чертою этой книжной, схоластической словесности было бессилие пред существующим фактом и бессмысленное подчинение ему, даже без желания объяснить его. Если встречались факты противоположные, книжники склонялись пред тем, который брал перевес, и во имя его преследовали другой, противный. Так восставали они против языческих суеверий, с течением времени все больше и больше, между тем как, по естественному порядку вещей, надобно полагать, что они с течением времени все-таки постепенно ослабевали. Так в конце XIII столетия вздумал Серапион говорить против княжеских междоусобий, когда в это время, под игом татар, удельные распри сами собою уже значительно ослабели. Так было и во всех других случаях. Но, при всей своей жалкой немощи, при всем отсутствии живых сил, явления, подобные Серапиону, представляют еще отрадную сторону нашей древней письменности{14}. Они были прогрессом в сравнении с тою без-

жизненною схоластикою, какая господствовала в большинстве книжников. Те уже стояли совершенно в стороне от русской жизни и толковали, весьма горячо и пространно, именно о том, до чего русскому не было ровно никакого дела. Замечательно, чем начали свое письменное поприще в России древние книжники. Первое по времени произведение, написанное в России, было послание Льва митрополита (умер в 1007 г.) против латинян, где он подробно рассуждает об опресноках, о посте в субботу, о безженстве священников и т. п. Нельзя не сознаться, что трудно было выбрать предмет, более далекий от русской жизни. Но выбор его объясняется, конечно, отношениями Византии, которая была тогда в самом разгаре своей вековой распри с Римом.

Впрочем, при всей видимой неподвижности древней русской письменности, при всей ее отвлеченности и безжизненной схоластике, и в ней нельзя не видеть некоторого развития, которое с течением времени делается все приметнее. И в ней выразился общий закон распространения образованности, постепенно расширяющей свой круг, несмотря ни

на какие препятствия. Литература – вообще всегдашний спутник образованности: развитие ее идет параллельно с развитием потребностей образованных классов. Пока образованных людей немного, литература необходимо служит выражением интересов немногих; когда все будут образованны, литература, – нет сомнения, – будет отзываться на потребности всех, расширив круг своего действия и избавившись от духа кружков и партий. Это самое расширение круга действия литературы совпадает с другим, не менее важным обстоятельством – приближением ее к настоящей, действительной жизни, с избавлением от всего призрачного и с признанием интересов истинных и существенно важных. Любопытно было бы сделать очерк всей русской литературы с этой точки зрения. Г. Милюков не мог этого сделать, потому что в древней Руси он отвергает всякое развитие, а в новой, послепетровской, видит развитие уже слишком быстрое. В основании, конечно, и то и другое вполне справедливо, особенно в отношении к поэзии; но нам кажется, что если мы согласимся вполне с первым, отрица-

тельным, положением г. Милюкова, то окажется несколько преувеличенным второе положение – о новой поэзии. Дело в том, что и в древней письменности все же заметно некоторое расширение взгляда, доказывающее, что с течением времени книжное дело начинает интересовать уже большее количество лиц, чем прежде, и что эти лица принадлежат к более разнообразным кругам. В первое время письменность никого не интересовала, кроме духовенства, и ни для чего не нужна была, кроме распространения истин веры. Других потребностей еще не было в обществе, и вследствие того являются только книги священные, богослужебные, и рассуждения о предметах, занимавших только духовенство, и притом не русское, а византийское. Таким образом и являлись послания против латинян, поучения о посте, о молитве во храме, об иконах и пр., вызванные не нуждами русской жизни, а возражениями, которым эти предметы подвергались в Византии. Вскоре основаны были у нас монастыри, и вслед за тем явились монашеские уставы, сочинения о монашеском житии и пр. Почти при самом же

своем начале письменность не ограничивается уже, однако, исключительно религиозными интересами: она служит также оружием власти светской, хотя все еще не выходит из круга духовных предметов. Владимир издает уже «Устав о церковном суде», которым определяется отчасти формальное отношение духовенства к народу. Зато и со стороны духовенства является вскоре похвала [кагану] Владимиру, написанная митрополитом Иларионом (полов. XI ст.){15}. Долгое время затем в письменности русской видно почти исключительное проявление интересов княжеских и духовных. Не говоря о поучениях, посланиях, грамотах монастырям и церквам, житиях святых, даже древние путешествия и летописи отличаются тем же характером. Путешествия предпринимались преимущественно на Восток, с религиозной целью, и на все предметы смотрели наши древние путешественники с точки зрения иноческой. Светские интересы их не занимали; игумен Даниил был в Иерусалиме тогда, как им владели крестоносцы, виделся с Балдуином и, не обратив ни малейшего внимания на такое историческое собы-

тие, как крестовые походы, со всею теплотою души рассказал, как он ставил свое кадило, и пересчитал, за каких именно князей русских он поставил его{16}. То же и в летописях: внесены сюда и проповедь грека-философа пред Владимиром, и исповедание Владимирово, и история построения Печерской обители, и житие Бориса и Глеба, и множество текстов и духовных рассуждений. С другой стороны, тщательно записывается время рождения и смерти всякого князя, описывается его нрав, его наружность; его отношение к духовенству никогда не забывается, – и только. Если отношение князя к дружине указывается, то лишь затем, чтобы восхвалить князя; дружина упоминается только к слову. Если говорится, что князь был милостив и нищелюбив, то опять это говорится не потому, чтобы благо народное трогало душу летописца, а потому, что этим доказывается дорогая для него мысль: «Бе бо князь сей любя словеса книжная»; а в словесах этих сказано: «Блажен муж милуяй» и т. п. Таким образом, первые представители просвещения в России, ставшие выше массы народа, выражали в письменности свои

стремления и интересы, тесно связанные один с другим и взаимно друг друга поддерживавшие. Но отношения их к массе народа естественно вынуждали их обратить внимание и на то, чтобы устроить, сколько возможно лучше, эти отношения. Выражение этой потребности в книжных произведениях является, с одной стороны, в светском законодательстве, начинающемся весьма рано, с «Русской правды»{17}, а с другой стороны – в духовных поучениях, имеющих некоторое отношение к жизни. Таковы были нравственные наставления о смирении, терпении, отречении всех благ мирских и покорности воле божией и т. п. Бывало даже и более прямое отношение к народной жизни, очевидно, вызванное обстоятельствами, имевшими значение в глазах князей и духовных. Так, напр., еще в XI в., в Правиле митрополита Иоанна, находим статью против торговли рабами; так, в XII в., в послании Никифора, читаем увещание князю, чтобы он сам входил во все и не слушал наветов людей, окружающих его. В XII и XIII вв. самые летописи несколько более начинают обращать внимание на поло-

жение народа; обстоятельство это, без сомнения, произошло не без отношения к тому, что в это время встречаются между писателями многие из белого духовенства, бывшие, конечно, в ближайшем соприкосновении с народом, чем монахи. Для Нестора жизнь ограничивалась Печерским монастырем, а для какого-нибудь попа Иоанна или пономаря Тимофея не могла ограничиваться даже одним их приходом. Поэтому-то мы и встречаем, напр. в Новгородской летописи (под 1230 г.), подробное и живое описание действий голода на новгородских жителей, с замечаниями даже о цене съестных припасов. Далее, круг людей грамотных (значит, по-тогдашнему, образованных) расширяется, как видно, и в XIV–XV вв. предпринимаются и описываются путешествия уже светскими людьми, как, напр. Стефаном Новгородцем, Василием – гостем московским, Афанасием Никитиным – тверским купцом{18}, в то же время организуются целые системы вероучения, противные православию и нередко составлявшиеся без всякого участия лиц духовных. Круг деятельности духовенства расширяется и находит се-

бе предмет, имеющий действительное значение в народе и вызванный явлениями самой жизни. Точка зрения, разумеется, остается та же, отвлеченно-возвышенная, без малейшего приноровления к народным нуждам и воззрениям, без всякого живого взгляда на жизненные отношения, производящие то или другое явление в народе. Но важно уже и то, что содержание письменности все-таки расширяется и обращается к настоящему положению дел: значит, в самой жизни была сила, которая могла вывести даже книжную схоластику из ее мертвых отвлечений на поприще деятельности, хоть сколько-нибудь живой. Мало того, из среды самой массы поднимаются отголоски на явления общественной и государственной жизни. В этом отношении интересны дошедшие до нас две различные повести о взятии Пскова{19}. Одна из них составлена в Москве и восхваляет подвиги московского воинства, приходя в негодование от своеволия псковитян. Другая повесть принадлежит, псковичу и смотрит на дело с другой стороны: обвиняет московского наместника в притеснениях, князя – в вероломстве и сожале-

ет об утрате вольности. Это – несомненный знак, что литературные интересы теперь уже так расширились, что в письменности может даже отражаться мнение большинства народа [, в противность покоряющей его силе]. В XVI в. размножаются частные летописцы отдельных областей, раздаются обличения Максима Грека, направленные даже против митрополита и самого царя, и, кроме того, это столетие представляет нам две книги, в высшей степени замечательные: «Домострой» и «Сказания Курбского»{20}. «Домострой» во всех своих воззрениях верен старой рутине и с этой стороны дает только новое доказательство того, как книжное учение портило у нас самые простые и естественные отношения, как оно узаконяло собою множество нелепых и грубых понятий. Появление этой книги важно в другом отношении: оно свидетельствует, что в XVI в. чувствовали уже надобность применить книжную мудрость и к семейной жизни, следовательно, письменность служила уже не одним интересам церковным и государственным. «Сказания Курбского» имеют другое значение. Здесь и самый взгляд

на дело резко отличается от того взгляда, который старались усвоить России греческие и огречившиеся наши книжники. Представителем этого взгляда является тут уже сам Иоанн, бывший, как известно, весьма искусным в книжном учении. В переписке его с Курбским весьма интересно следить, как он располагает арсеналом доводов, взятых из книг того времени, для того, чтобы оправдать свое поведение и во что бы то ни стало обвинить Курбского. Он силится доказать, что бояре, как и все подданные, обязаны были до конца претерпеть с кротостью и незлобием все его жестокости; в пример подобной кротости приводит он раба Курбского, Василия Шибанова, который спокойно стоял пред Иоанном, когда этот своим костылем пригвоздил его ногу к полу и, облокотясь на костыль, читал письмо Курбского. Но Курбский уже не убеждается доводами Иоанна: у него другая точка опоры – сознание своего собственного достоинства. Взгляд его не может еще возвыситься до того, чтобы объяснить надлежащим образом и поступок Грозного с Шибановым; нет, – Шибанов пусть терпит, ему это прилич-

но, и князю Курбскому дела нет до того, что приходится на долю Васьки Шибанова. Но с собой, с князем Курбским, аристократом и доблестным вождем, он не позволит так обращаться. За себя и за своих сверстников-аристократов он мстит Иоанну гласностью, историей. Книжное дело призывается теперь для служения не одной духовной власти и правительственным распоряжениям, а [уж] и для интересов иного класса – бояр и высших сановников. К ним преимущественно относились жестокие казни и опалы Иоанновы; из их среды и нашелся человек, который употребил оружие слова для выражения своего неудовольствия. Но в России того времени нельзя было писать того, что написал Курбский; только в наше время его сказания могли быть повторены русским историографом и изданы в России в подлинном виде. В царствование Грозного горькая истина должна была высказываться в чужой земле, далеко от России, в которой вся письменность блуждала еще в византийских отвлечениях, не касаясь жизни. Книга Курбского первая написана отчасти уже под влиянием западных идей; ею

Россия отпраздновала начало своего избавления от восточного застоя и узкой односторонности понятий. Вслед за нею начинаются события, более и более сближающие нас с Западом и оживляющие нашу литературную деятельность. Уния возбуждает религиозные споры, не ограничивающиеся схоластическими прениями, но сопровождающиеся важными последствиями в самой жизни. В то же время, вместе с желанием, с той и другой стороны, доказать народу превосходство своих мнений, является потребность дать ему средства к образованию. И вот являются катехизисы для народа, руководства к правой вере и т. п. Но этого мало: надо дать возможность читателям понимать и обсуживать самим спорный вопрос. Теперь уже нельзя ограничиться одними положениями и запрещениями: как скоро есть спор, сомнение, нужно во что бы то ни стало рассеять его, подействовавши на рассудок. А для рассудка нужны данные, факты, знания; и вот являются учебные книжки, очевидно назначенные для первоначального образования: грамматики, словари, синопсисы и пр. Разумеется, везде, где

можно было, во всех этих книжках высказывался взгляд односторонний, не имевший никаких других интересов, кроме своих собственных, [взгляд той партии, к которой принадлежал автор; разумеется само собою и то, что ни та, ни другая партия не заботилась ни о каких других интересах, кроме своих собственных] и что до народного блага им дела не было. Но важно здесь то, что книжники уже поставлены были в такое положение, в котором должны были допустить надобность некоторого образования и в других классах народа, не принадлежащих к сословию, имевшему до того монополию книжного дела и вообще образованности. В этом отношении уния имела сходство с реформациею: при движении реформационных идей папы тоже поставлены были в невозможность поддерживать свое значение запрещением народу читать библию, оставлением его в невежестве и т. п. Все нужно было разъяснить, все выставить наружу. Конечно, движение, возбужденное униею, не имело таких размеров, как движение реформации, но все же оно имело с ним некоторое сходство по своему ха-

рактеру. Оно выразилось преимущественно в западной и южной Руси, но не могло не коснуться и северо-восточного края, тем более что он пришел с Западом в ближайшее соприкосновение во время самозванцев. Тут интерес был еще ближе к жизни, нежели в западной Руси во время унии; обращение к народу еще необходимее, чем там. Книжники должны были понять теперь, как слабы узы, доселе державшие старый порядок: они разорваны были самим народом при первом появлении призрака, принявшего имя законного государя. Видя, что неведение народа о самых простых вещах гибельно делается для тех самых, которые его воспитывали; догадавшись наконец, что невежество ненадежно, что на него нельзя положиться ни в чем, потому что оно постоянно может служить орудием в руках первого обманщика, – книжники решились вразумлять народ относительно некоторых предметов: толковали ему о самозванцах, рассказывали историю Годунова и Димитрия, писали увещательные грамоты и пр. Грамоты и повествования эти читали теперь уже не только духовенство и правительственные лю-

ди: книжность спустилась уже в класс мелкого чиновничества, которое не только читало, но даже и само принялось сочинять. Много произведений XVII в. принадлежит в России дьякам, подьячим, переводчикам приказов и другим чиновникам. Одно из таких сочинений, написанное опять-таки не в России, а в чужой земле – русским подьячим посольского приказа, – выходит из ряда обыкновенных произведений старой Руси и обнаруживает уже замечательную силу анализирующей мысли. Мы говорим о Кошихине{21}. У него уже взгляд более широкий, более человечный, чем у всех русских, до него писавших о России, даже и в отрицательном духе. Он является образованным представителем интересов среднего сословия, над которым налегло старинное барство [с своим невежеством и спесью]. У Кошихина уж не те идеи, что у Курбского: он уже сожалеет и о грубости семейных отношений, и о невежестве высшего класса, и об административных обманах, и о жестокости пытки, и об отчуждении России от Европы. И замечательна его точка зрения: в нем нет неприязни к России, он не смотрит

на ее недостатки как нераздельные с природою народа, он объясняет их обстоятельствами, отношениями различных классов между собою и тому подобное. Так, например, говоря о [бесстыдстве и] невежестве бояр, Кошихин объясняет его тем, что они наученья никакого не принимают от других народов; не принимают же потому, что обычая не повелось ездить за границу, из опасения нарушить чистоту веры и старые обычаи. «Российского государства люди породою своею спесивы и необычайны ко всякому делу, понеже в государстве своем поучения никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства, и бесстыдства, и ненависти, и неправды. Понеже для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веру и обычаи, начали б свою веру отменять и приставать к иным, и по возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили... А который бы человек, князь или боярин, или кто-нибудь, сам или сына, или брата своего послал для какого-нибудь дела в иное государство, без ведомости, не бив че-

лом государю, и такому б человеку за такое дело поставлено было в измену, и вотчины, и поместья, и животы взяты б были на царя; и ежели б кто сам поехал, а после его остались сродственники, и их пытали б, не ведали ли они мысли сродственника своего; или б кто послал сына, или брата, или племянника, и его потому ж пытали б, для чего он послал в иное государство, не напроваживаючи ль каких воинских людей на московское государство, хотя государством завладети, или для какого иного воровского умышления по чьему научению, и пытав того таким же обычаем» (41 стр.). Этот отзыв привели мы для того, чтобы показать, что уже в половине XVII века сознавалась людьми среднего сословия необходимость разумных заимствований от Европы. Суждение Кошихина может, пожалуй, показаться исключительным явлением; но здесь важно не то, во скольких лицах мысль выразилась, а то, что она могла появиться в это время, и появиться как естественный вывод из данных, существовавших в самой жизни. Значит, жизнь уже сама по себе вела к сближению с Западом и к заимствованию его

знаний и обычаев; и значит, совершенно напрасно утверждают некоторые, что меры Петра шли совершенно наперекор естественному ходу нашей истории. Он, конечно, ускорил движение, и еще, может быть, от него зависела отчасти форма, в которой проявилось заимствование. Но, зная несколько относящихся сюда фактов из времен, предшествовавших Петру, нельзя не убедиться, что и здесь от естественного хода дел зависело более, чем от личной воли преобразователя. Обыкновенно Петровской реформе делают тот упрек, что, совершивши сближение наше с Европой слишком быстро, Петр не дал установиться у нас на этот счет здравым и солидным идеям, а все подражание обратил только к одной форме, к внешности. Факт сам по себе справедлив. Но невозможно приписывать его только влиянию быстроты Петровской реформы: как бы медленно мы ни заимствовали, все-таки стали бы заимствовать сначала только внешность – таково было состояние просвещения даже в высших классах, которые более других имели средств к сближению с «иных государств людьми». Одни, как видно

из Кошихина, вовсе не хотели тогда ничего иностранного; другие же, как видно из фактов, признавали необходимость введения некоторых вещей на иностранный манер, – но на какие же предметы обращалось их внимание? Из-за границы выписывали отличных архитекторов, кое-каких музыкантов и комедиантов, которые «комедь ломали», и т. п. Разве это не внешность была? И разве этим путем Русь вернее могла дойти до истинных начал образованности, чем путем обширной, всеобщей реформы, предпринятой Петром? Напротив, при этих-то мелочных заимствованиях, удовлетворявших вкусу немногих бояр, которые желали воспользоваться европейскою образованностью для собственной потехи, Русь всего менее могла бы успеть в своем развитии, тогда как реформа Петра, взволновавши давнишний застой Руси, разорвавши узы, которыми связывали всех остатки местничества и другие боярские предрассудки и обычаи, давши больше простора всем классам, значительно ускорила ход самой образованности, которая до того подвигалась таким медленным, едва приметным шагом, а вместе

с тем раздвинула и пределы литературы. В периоде послепетровском литературное развитие, не отступая от своего главного хода, идет гораздо быстрее, чем прежде, хоть не до такой степени быстро, как полагает г. Милюков.

Мы чувствуем, что читатели уже недовольны нами за то, что мы так долго останавливаем их внимание на предмете, не имеющем ни малейшего соотношения ни с одним из животрепещущих вопросов, волнующих современное общество. Мы знаем, что теперь, когда умы всех обращены к интересам первой важности – к отменению крепостного права, к гласности, злоупотреблениям между чиновниками, недостаткам воспитания и образования и т. п., – теперь немногие захотят заглянуть в статью, толкующую о вопросах литературных, не касающихся жизни. Знаем мы, что плохое время выбрали для своей скромной статьи, столь далекой от всех общественных вопросов. Но что же делать, если дело литературы так мило нам, – хоть нас и бранят за мнимое пренебрежение к ней, – если судьбы ее так нас занимают, что мы не умеем

остановиться, раз заговоривши о ней. А говоря об ее исторических судьбах, что же могли бы мы сказать интересного для современных читателей, когда общественные вопросы до самого последнего времени были чужды нашей литературе, когда она держалась совершенно особняком и существовала «для немногих»? Впрочем, мы чувствуем, что оправдания наши очень неудовлетворительны, и, сознавая свою вину, постараемся окончить наши заметки как можно скорее, так как в дальнейшем развитии нашей литературы (нужно предупредить читателя) интересы, волнующие ныне общество, оставались почти в той же неприкосновенности, как было и до Петра.

Познакомившись с нравами и государственным устройством других народов, Петр увидел, как важно образование народное для блага целого царства. Поэтому постоянной заботой его было водворение в России образования по примеру Европы. Лучшим средством для распространения образованности он справедливо считал книги, и в его время письменность русская является решительно

провозвестницею воли монарха для подданных. Он понял, что при заботе о просвещении народа необходимо призвать на помощь живое убеждение, и это убеждение распространял посредством книг. Всякое событие его царствования, всякий новый закон, новое распоряжение находили себе объяснение и оправдание в произведениях письменности. Так являются во время Петра книга «О причинах, какие имел он к начатию войны со шведами», «Правда воли монаршей о наследовании престола», множество регламентов, специальных книг по части инженерной, артиллерийской, морской и пр., наконец, «Ведомости», в которых в первый раз русские увидали всенародное объявление событий военных и политических. Все новые потребности, возбужденные Петром, непременно, по его же мысли и желанию, сопровождались книжными явлениями, которые таким образом служили разумным оправданием мер, принятых правительством. Почти все книги такого рода были изданы не частными людьми, а по распоряжению самого же правительства; но самая возможность писать о всяческих предме-

тах, начиная с политических новостей и оканчивая устройством какой-нибудь лодки, расширила круг идей литературных и вызвала на книжную деятельность многих, которые в прежнее время никогда бы о ней и не подумали. Замечательнейшим явлением в тогдашней письменности был, без сомнения, крестьянин Посошков, решившийся рассуждать самоучкой о вопросах политической экономии – о средствах умножить избыток в народе и отвратить скудость{22}. Не говоря о точке зрения Посошкова, которая, может быть, не совсем удовлетворит требованиям живой народной науки, заметим здесь только о том, как в этом случае простой здравый смысл русского человека сошелся с результатами, добытыми наконец в многолетних опытах и исследованиях людей ученых. Посошков принялся за рассуждения о богатстве народном просто потому, что этот предмет был к нему ближе всякого другого и проще для него; а между тем этот самый предмет составляет науку, служащую венцом всех так называемых общественных наук. Справедливость требует, впрочем, сказать, что Посошков, хотя

и крестьянин, не был вполне представителем своего класса, а скорее выходцем из него: он занимал какую-то начальстзенную должность, и в его рассуждениях, вместо естественного побуждения прямых нужд народных, видны нередко разные административные виды. То, что в маленьких размерах приметно у Посошкова, в колоссальном виде выказалось у другого крестьянина, который, благодаря Петровой реформе, получил возможность выучиться разным наукам, побывал за границей и сделался тоже выходцем из своего сословия. Ломоносов сделался ученым, поэтом, профессором, чиновником, дворянином, чем вам угодно, но уж никак не человеком, сочувствующим тому классу народа, из которого вышел он. Иначе, впрочем, и не могло быть в то время: хотя Петр и уничтожил китайскую стену, отделявшую до него боярина от окольничего, окольничего от думного человека и т. д., хотя он, признавши права заслуг и образования, дал всем простор идти вперед, но не могли же все вдруг приобресть образование и отличиться заслугами. Всего легче могли воспользоваться средствами об-

разования опять-таки дети бояр, окольничих и т. п. Низшие сословия могли также высылать теперь на состязание своих избранных; но состязание во всяком случае было неровное, и эти избранные все-таки оставались едва заметными исключениями из целой массы. Если русская аристократия петровского времени не стала во главе целой нации по своей образованности и нравственному превосходству, то причина этого заключается, конечно, уж не в недостатке материальных средств, а просто в лени и неподвижности [разъедающем и отупляющем влиянии] нашего старинного барства. Впрочем, если не по умственным совершенствам, то по своему общественному положению [,по табели о рангах,] боярство все-таки завладело тогда литературою, и она, не сделавшись непосредственным достоянием высших классов, как была прежде достоянием духовенства, постоянно, однако же, употреблялась посредственно к их услугам. Мы говорим здесь о меценатстве, которое так распространилось у нас во времена после Петра и делало Россию отчасти похожею в некоторых отношениях на

Рим времен империи и последних годов республики. Князь Кантемир, принадлежавший еще к веку самого Петра и притом сам аристократ, держался довольно независимо и по влечению сердца воспевал правительственные и общественные реформы Петра. Но Ломоносов имел уже своих *милостивцев,* в угоду которым сочинял разные «стиховные штуки», как говорил Тредьяковский. Ломоносов много сделал для успехов науки в России: он положил основание русскому естествоведению, он первый составил довольно стройную систему науки о языке; но в отношении к общественному значению литературы он не сделал ничего. Как до него схоластическая поэзия ограничивалась изображением «Орла российского» или сочинением аллегорического «Плача и утешения», в виршах Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, так точно и Ломоносова поэзия не шагнула дальше дидактического нравоучения да напыщенного воспевания бранных подвигов. Действительной жизни он не хотел знать и даже полагал, кажется, что о ней можно говорить не иначе, как низким слогом, которого должен избегать

порядочный писатель. Нельзя же было, в самом деле, рассказывая хоть бы, например, о затруднениях мужика, у которого последняя лошадь пала, возвыситься до того пафоса, до какого доходили наши поэты, описывая ужин и фейерверк, данный знатным боярином. Тут уже не только чувства не те, самый язык не тот будет. Возвышенным, красноречивым, витиеватым слогом можно воспевать только высокие явления жизни – взятие неприятельского города, отбитие у врага нескольких пушек, торжество по случаю победы, иллюминацию, раздачу наград и т. п. Вследствие таких соображений лучшие представители тогдашней литературы старались, так сказать, вести себя сколько можно аристократичнее в отношении к [низким] предметам, касающимся быта простого народа, и в отношении к самому этому народу [к подлому народу, как называли тогда публику, не принадлежавшую к высшему кругу]. Ломоносов, правда, говорит иногда судиям земным, чтобы они блюлись от буйности и подданных не презирали, а наблюдали народную льготу; но это говорится так, en masse [3], в видах отвлечен-

ной добродетели и справедливости и отчасти даже для красного словца, а ничуть не по глубокому сердечному сочувствию к нуждам народа. Так точно Сумароков восставал против невежества, спеси дворянской, взяточничества и т. п. и в то же время сочинял трагедии, в которых разные герои, владыки и их наперсники вещали высоким слогом нелепейшие бессмыслицы. Те, против кого писал Сумароков грозные сатиры, слушали эти нелепости и хвалили, зная, что автор в милости у знатных особ; а простая публика, видя, что тут для нее ничего нет, преоткровенно грызла орехи во время представления. Тут уже Сумароков пришел в истинное негодование и от души высказал, что этот [«подлый] народ[«] не стоит чести смотреть трагедии российского Корнеля и Расина и что [сей подлый народ есть необразованная скотина, не признающая даже] таких авторитетов, как г. Вольтер и он, г. Сумароков. Но Сумарокову еще можно простить: у него уж такой нрав был: он всех ругал, сколько сил хватало, хотя сам и восхищался очень наивно своим чином и кавалерством. Можно, с другой стороны,

простить и пресмыкание пред знатными какому-нибудь Тредьяковскому, которого можно было высечь за непоставку к сроку оды на маскарад: это уж был человек убитый; его так все и принимали за шута. О всех этих Петровых, Костровых и т. п. говорить нечего: они только и жили милостивцами, стараясь потешать их [невежество] то великолепной стиховной галиматьей, то собственной фигурой. Так, в Риме, после покорения им Греции, образованные рабы, гувернеры, пииты и вместе с тем шуты и полные невольники невежественных патрициев служили им своим умом, образованностью, ловкостью и вместе щеками и спиною. Учиться и работать считалось в тогдашнем Риме недостойным патриция; наука и работа признавались и в тогдашней России не дворянским делом. Высший класс выпустил из головы своей мысль об образованности и думал удержать ее в своих руках посредством подачек своим паразитам, торговавшим дарами просвещения. К удивлению, находим, что барам нашим проделка их удавалась очень долго. Г. Милюкову кажется, что Державин целым веком отделен от Ломо-

носова; но мы никак этого не находим. Державина сама императрица приняла под свое покровительство, но и тут не избавила его от необходимости отыскивать милостивцев, которых производил он и в геркулесы, и в гиганты, и чуть не в полубоги. Что же касается до взгляда на народ, его нужды и отношения, то Державин подвинулся немного со времен Ломоносова или даже Симеона Полоцкого.[4]

Восклицание, нужно признаться, не совсем гуманное, как и вообще произведения Державина, носящие на себе отпечаток то отвлеченной мертвой схоластики, то эпикурейских ощущений, не очищенных ни изящным вкусом, ни здравой мыслью, то придворного шутовства в духе нравов того времени. Нет, мы решительно не согласны с г. Милюковым, будто от Ломоносова до Державина совершилось какое-то громадное развитие в русской поэзии. Если развитие и было, то самое ничтожное, да и то скорее в отношении к внешности, к форме выражения, а уж никак не в отношении к развитию и расширению содержания. Как прежде воспевались отвлеченные добродетели и совершенства, так и теперь,

только еще утомительнее. Ни одна из нравственных од Ломоносова не может поравняться величиною с подобными же одами Державина, из которых в иных нет ли, пожалуй, стихов до тысячи. Как прежде поэт падал ниц, в немом восторге, пред мужем брани, меряя свое благоговение числом людей, убитых под его начальством, так точно и теперь, – да еще восторженнее прежнего. Как прежде на всемирные события смотрели из маленькой форточки своего узенького окошечка с решеткой и меряли всю землю собственной четвертью, так и теперь круг зрения нисколько не расширился. Довольно привести один факт. Державин был кем-то обижен и написал *«Оду на коварство»*. Через три года произошла французская революция; он приделал к своей «Оде на коварство» несколько строф и пустил ее в свет под названием: «Ода на коварство французского возмущения». Не удовольствуясь этим, он пришил к ней еще похвалу князю Пожарскому{23}. Такие воззрения существовали у русских поэтов прошедшего века!..

На кого еще указать из этого же периода литературы? На Хераскова и Княжнина? У

них еще менее народности, еще менее возвышения до интересов общественных, чем у Державина. Предметы поэм Хераскова и трагедий Княжнина уже сами собою показывают, как мало чуяли дух русской народности сии высокопарные пииты, певшие «от варваров Россию свобожденну» и гремевшие своими Росславами. Выбор событий мифологических или ненародных, отвлеченная точка зрения, старание делать намеки, приятные высшим (как, напр., в «Титовом милосердии»), – все это обличало отчуждение, от народности, пренебрежение к нуждам и страданиям людей, если они только не пользуются громкими титулами{24}.

О Карамзине говорили у нас как о писателе народном, впервые коснувшемся родной почвы, спустившемся из области мечтаний к живой действительности. Правда ли все это? Можно ли сказать, что Карамзин избавился от призраков, которые тяготели над его предшественниками, и взглянул на действительную жизнь светло и прямо? Едва ли. Правда, державинское и ломоносовское парение является у Карамзина уже весьма слабо (а все-та-

ки является); правда и то, что он изображает нежные чувства, привязанность к природе, простой быт. Но как все это изображается! Природа берется из Армидиных садов, нежные чувства – из сладостных песен труверов и из повестей Флориана, сельский быт – прямо из счастливой Аркадии. Точка зрения на все по-прежнему отвлеченная и крайне аристократическая. Главная мысль та, что умеренность есть лучшее богатство и что природа каждому человеку дает даром такие наслаждения, каких ни за какие деньги получить невозможно. Это проповедует человек, живущий в довольстве и который, после вкусного обеда и приятной беседы с гостями, садится в изящном кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, описывать блаженство бедности на лоне природы. Выходит умилительная картина, в которой есть слова: природа, простота, спокойствие, счастие, но в которой на деле нет ни природы, ни простоты, а есть только самодовольное спокойствие человека, не думающего о счастии других. Отчего происходило это? Неужели писатели карамзинской школы в самом деле полагали,

что наши северные поселяне похожи на аркадских пастушков? Неужели они не видели, что в простом народе есть свои нужды, свои стремления, есть нищета и горе житейское, а не призрачное? Конечно, они это знали и видели; но им казалось, что этого незачем вносить в литературу, что это будет даже неприлично и смешно. [Так в наше время что сказали бы мы о писателе, который бы описал с пафосом и подробностью страдания лошади, оторванной от корму, запряженной против воли в карету и принужденной ударами кнута ехать, куда ей вовсе не хочется? Так] в карамзинское время дико было снисходить до истинных чувств и нужд простого класса. В самой истории Карамзин держится постоянно той точки зрения, которая выразилась в заглавии его творения: «История *государства Российского».* Через 20 лет после него Полевой хотел писать историю русского *народа;* но ему весьма плохо удалось его дело. Нельзя, впрочем, винить ни его за неудачу, ни Карамзина за его образ воззрения. История не сочиняется, а составляется по данным, сохранившимся более всего в письменных памятни-

ках. А что представляла историку наша древняя письменность? Мы уже видели, что в ней принимали участие только два малочисленнейшие класса народа, и их только интересы выражались в ней. Следовательно, истории народа по данным летописным составить было невозможно, если человек не умел, как говорится, читать между строк. А Карамзин, если и имел отчасти это искусство, то единственно для проведения своей главной идеи о государстве. Таким образом нашел он, что Иоанн III в некоторых отношениях выше Петра Великого; таким образом умел провести нить великих князей киевских, а потом владимирских, чрез весь удельный период; таким образом порядку государственному он противополагал свободу народную; не умевши понять, что они нераздельны и взаимно друг друга поддерживают, он говорил: народы дикие любят свободу, народы просвещенные любят порядок... До какой степени Карамзин сблизил русскую литературу с действительностью, видно из творений его поклонника и последователя – Жуковского. Мечтательность, призраки, стремление к че-

му-то неведомому, надежда на успокоение там, в заоблачном тумане, патриотические чувства, обращенные к русским шлемам, панцирям, щитам и стрелам, соединение державинского парения с сентиментальностью Коцебу, – вот характеристика романтической поэзии, внесенной к нам Жуковским. Одно только из русской народности воспроизвел Жуковский (в «Светлане»), и это одно – суеверие народное. И, кажется, только в этом отношении романтическая поэзия и могла соприкасаться с нашим народным духом: во всем остальном она отделялась от него неизмеримой пропастью.

И, однако же, Карамзин и Жуковский получили в русском обществе такое знание, какого не имел ни один из предшествовавших писателей. Чем же объяснить это? Тем, разумеется, что оба они удовлетворяли потребностям того общества, которое их читало. [Вопрос остается за тем, что это было за общество? Говорят, что Карамзина и Жуковского любит и знает Россия, и этому верят зело ученые люди, которые полагают, что они-то, ученые и образованные, и составляют Россию, а

все остальное, находящееся вне нашего круга, вовсе недостойно имени русского.] Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва – настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа. Вы, может быть, намерены возразить мне, заговоривши о преимуществах образованности, которая дает человеку власть над неодушевленной природой, над неразумными животными и возвышает нас над толпой. Но погодите хвалиться вашей образованностью, по крайней мере до тех пор, пока вы не найдете средств обходиться без этой толпы или давать ей столько же, сколько она вам дает. Всякий закон, всякое приобретение, всякое положение, всякая вещь, наконец, тем лучше, чем большему количеству личностей или предметов доставляет пользу или удобство. А это что же за великое явление, которое в течение веков все ограничивается сотнями и тысячами людей, не обращая внимания на миллионы!.. И поверьте, что эти миллионы вовсе не виноваты

в своем невежестве: не они отчуждаются от знания, от искусств, от поэзии, а их чуждаются и презирают те, которые успели захватить умственное достояние в свои руки. Если же им и дают что-нибудь, вроде мертвых схоластических стихов вместо живой народной поэзии, то народ, естественно, отвращается от подобных прелестей, как вовсе не подходящих к его потребностям и к его положению. Кем же ограничивалась литература даже во времена Карамзина и Жуковского? Круг людей, требованиям которых удовлетворяли эти писатели, был, правда, шире прежнего. Ломоносовские и державинские оды восхвалялись и повторялись только людьми, нечуждыми придворной жизни; повести Карамзина и баллады Жуковского перечитывались, можно сказать, во всем дворянском круге. Это и составляет значительный шаг вперед, сделанный карамзинскою школою. Вместе с тем она неизбежно должна была теперь несколько спуститься к действительности, хотя все еще далеко не достигла ее. Что в прежней, пиндарической школе{25} было призрачное величие, то здесь – призрачная нежность; там ве-

ликолепие, здесь достаток; там гром и молния, [здесь роса и радуга; там фейерверки,] здесь каскады; там трубы и кимвалы, грохочущие славу князей на удивление смертных, здесь арфы, призывающие простых детей природы наслаждаться чувствительностью. Здесь приближение к действительной жизни находим мы по крайней мере в том, что уже менее возбуждаются всякие страшилища и разрушители земного счастия. Литература сама еще не смеет подойти к действительности и объявить себя на стороне настоящего положения вещей; но уже с меньшей охотой, чем прежде, восхваляет она то, что противоречит естественному порядку дел. В литературе, видимо, является наклонность к примирению с жизнью и характер консервативный. Теперь, если недовольство действительным миром и является, то уже не во имя каких-нибудь громких исключительных явлений, а во имя чего-то «очарованного», как выражался Жуковский, во имя каких-то глубочайших стремлений человеческого духа, которых, однако же, поэт и сам не сознавал хорошенько. Такая перемена необходимо должна была явиться

при расширении круга людей, интересующихся литературою. Очевидно, что в древние времена какой-нибудь скальд, для которого весь мир заключался в высокородном рыцаре, – его господине и милостивце, – мог без зазрения совести, с самым искренним восторгом, петь его бранные подвиги, оставаясь совершенно равнодушным к страданиям человечества. Его ведь никто и не слышал из этого человечества; он пел для своего рыцаря и его дружины. Если же какие-нибудь скованные пленники и присутствовали тут же во время песни, то их стоны и проклятия только возвышали славу певца и удовольствие доблестного рыцаря с дружиною. Нельзя было оставаться при таком же направлении в то время, когда не одна рыцарская дружина, но уже и мирные граждане стали интересоваться поэтическими созданиями. Нужно было и их потешить чем-нибудь: и вот является для их удовольствия украшенная природа, грациозные китайские куколки, изящные чувства и т. п. Это был неудачный суррогат действительности, на которую явилась уже потребность, но которую боялись дать живьем, бо-

ясь оскорбить отвлеченные требования искусства.

Батюшков, любивший действительную жизнь, как эпикуреец, но тоже боявшийся пустить ее в ход прямо, увидел, однако, что наши попытки на создание золотого века из простой жизни никуда не годятся. Он пошел по другой дороге и в своей недолгой литературной деятельности выразил такое умозаключение: «Вы боитесь изображать просто природу и жизнь, чтобы не нарушить требований искусства; но у древних вы признаете соблюдение правил искусства, смотрите же, я буду вам изображать жизнь и природу на манер древних. Это все-таки будет лучше, чем выдумывать самим вещи, ни на что не похожие». Это, действительно, было лучше, но все-таки было еще плохо, тем более что у нас почти не было людей, которые могли бы сказать, так ли Батюшков изображает мир и жизнь, как древние, или вовсе не похоже на них.

Пушкин пошел дальше: он в своей поэтической деятельности первый выразил возможность представить, не компрометируя ис-

кусства, ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле. В этом заключается великое историческое значение Пушкина. Но и в Пушкине проявилось это не вдруг, и притом проявилось не с тою широтой взгляда, какой можно бы ожидать от такой художественной личности. Карамзинская опрятность, мечтательность Жуковского и эпикуреизм Батюшкова сильно проглядывают в нем; а к этому присоединяется еще влияние Байрона, которого, как справедливо замечает г. Милюков, Пушкин не понял и не мог понять как по основе собственного характера, так и по характеру общества, окружавшего его. Натура неглубокая, но живая, легкая, увлекающаяся, и притом, вследствие недостатка прочного образования, увлекающаяся более внешностью, Пушкин не был вовсе похож на Байрона. «Пушкин не мог понимать, – говорит г. Милюков, – той ужасной болезни, какою томилось общество европейское, не мог питать к нему той неумолимой ненависти и презрения, какие кипели в душе британского певца, рожденного посреди самого просвещенного

народа, не мог проливать тех горьких, кровавых слез, какими плакал Байрон. Общество русское не было похоже на европейское, и если в то время в самой Европе не оценили еще значения певца Чайльд-Гарольда и называли его главою *сатанинской школы,* то, разумеется, Пушкин совсем не в состоянии был понять его... Он пленился только разочарованным и гордым характером его героев, мрачным колоритом картин и свободною легкостью формы». Таким образом, Пушкину долго не давалась русская народность, и он изображал разочарованных «Пленников» и «Алеко», вовсе не подозревая, что такое разочарование не в русском характере, хотя и встречалось в нашем обществе. Одаренный проницательностью художника, Пушкин скоро постиг характер этого общества и, не стесняясь уже классическими приличиями, изобразил его просто и верно; общество было в восторге, что видит наконец *настоящую,* не игрушечную поэзию, и принялось читать и перечитывать Пушкина. С его времени литература вошла в жизнь общества, стала необходимой принадлежностью образованного класса. Но опять

вопрос: как относится этот класс по количеству и качеству к населению целой России? Здесь нельзя не сознаться, даже с некоторым удовольствием, что класс людей, изображенных Пушкиным и находящихся в близких отношениях к нему, следовательно, им интересующихся, весьма малочислен у нас. Повторяем: говорим это с удовольствием, потому что, если бы в России было большинство таких талантливых натур, как Алеко или Онегин, и если бы, при своем множестве, они все-таки оставались такими пошляками, как эти господа, – москвичи в гарольдовом плаще, – то грустно было бы за Россию. К счастью, их у нас всегда было мало, и их изображение не только народу было бы вовсе не понятно, но даже и в образованном обществе интересовало не всех. Гораздо более привлекли к Пушкину внимание публики те картины русской природы и жизни, какие рассыпаны повсюду в его стихотворениях и выполнены с удивительным художественным совершенством. В то время и живое изображение природы было в диковину, а Пушкин так умел овладеть формой русской народности, что до сих пор удо-

влетворяет в этом отношении даже вкусу весьма взыскательному.

Мы сказали: *формой* народности, потому что содержание ее и для Пушкина было еще недоступно. Народность понимаем мы [не только] как уменье изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина: лучшим доказательством служит его «Русалка». Но чтобы быть поэтом истинно народным, надо больше: надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ, – этого Пушкину недоставало. Его генеалогические предрассудки, его эпикурейские наклонности, первоначальное образование под руководством французских эмигрантов конца прошедшего столетия, самая натура его, полная художнической восприимчивости, но чуждая упорной деятельности мысли, – все препятствовало ему проникнуться духом русской народности. Мало того, – он

отвращался даже от тех проявлений народности, какие заходили из народа в общество, окружавшее Пушкина. Особенно проявилось это в последние годы его поэтической деятельности. Жизнь все шла вперед; мир действительности, открытый Пушкиным и воспетый им так очаровательно, начал уже терять свою поэтическую прелесть; в нем осмелились замечать недостатки уже не во имя отвлеченных идей и заоблачных мечтаний, а во имя правды самой жизни. Ждали только человека, который бы умел изобразить недостатки жизни с таким же поэтическим тактом, с каким Пушкин умел выставить ее прелести. За людьми дело не стало: явился Гоголь. Он изобразил всю пошлость жизни современного общества; но его изображения были свежи, молоды, восторженны, может быть, более, чем самые задушевные песни Пушкина. Пушкин тоже тяготился пустотою и пошлостью жизни; но он тяготился ею, как Онегин, с каким-то бессильным отчаянием. Он говорил о жизни:

Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я{26}.

Но он не видел исхода из этой пустоты, его сил не хватило на серьезное обличение ее, потому что внутри его не было ничего, во имя чего можно было предпринять подобное обличение. Он мог только восклицать с лирической грустью:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум.
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум{27}.

Оттого-то он не пристал к литературному движению, которое началось в последние годы его жизни. Напротив, он покарал это движение еще прежде, чем оно явилось господствующим в литературе, еще в то время, когда оно явилось только в обществе. Он гордо воскликнул в ответ на современные вопросы: «Подите прочь! какое мне дело до вас!»{28} и начал петь «Бородинскую годовщину» и отвечать «клеветникам России» знаменитыми стихами:

Вы грозны на словах, попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Можно было бы спросить: это ли направление чистой художественности? Не поднимает ли здесь поэт тоже общественных вопросов, с тою разницею, что здесь выражаются интересы совсем другого рода? Да, эти произведения были в поэтической деятельности Пушкина шагом назад, – к державинской и ломоносовской эпохе. Но общество наше было теперь уже не то. Г. Милюков справедливо говорит: «Общество скоро поняло, что любимый поэт оставил его, что народные радости и печали не находят уже в нем горячего сочувствия и даже встречают холодное презрение. Тогда публика, в свою очередь, по невольному инстинкту, оставила поэта. Это охлаждение публики сильно тревожило Пушкина в последние годы его жизни. Он видел, как разорвалась та симпатическая связь, которая соединяла его с обществом, и начал с

лихорадочным беспокойством бросаться во все отрасли литературы: в историю, роман, журналистику, отыскивая какой-нибудь струны, которая связала бы его с публикою. Но ничто не помогало, и смерть избавила его от печальной необходимости видеть себя живым мертвецом посреди того общества, которое прежде рукоплескало каждому его слову» (стр. 177). Все это служит доказательством того, что Пушкин постиг только форму русской народности, но не мог еще войти в дух ее. Этим-то и объясняется, что в последнее время он стал писать стихотворения: «Клеветникам России» и т. п., имевшие, может быть, прекрасную художественную отделку, но по своей мысли все-таки назначенные *«для немногих»*, а никак не для большинства публики. Впрочем, недавно изданный VII том Пушкина доказывает, что восприимчивая натура поэта не оставалась глуха к призывам общественных вопросов; только недостаток прочного, глубокого образования препятствовал ему сознать прямо и ясно, к чему стремиться, чего искать, во имя чего приступать к решению общественных вопросов{29}.

Более сил нашел в себе Гоголь, которого значение в истории русской литературы не нуждается уже в новых объяснениях. Но и он не смог идти до конца по своей дороге. Изображение пошлости жизни ужаснуло его; он не сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, что ее нужно до конца преследовать, нисколько не опасаясь, что она мржет бросить дурную тень на самый народ. Он захотел представить идеалы, которых нигде не мог найти; он, не в состоянии будучи шагнуть через Пушкина до Державина, шагнул назад до Карамзина: его Муразов есть повторение Фрола Силина, благодетельного крестьянина, его Уленька – бледная копия с бедной Лизы. Нет, и Гоголь не постиг вполне, в чем тайна русской народности, и он перемешал хаос современного общества, кое-как изнашивающего лохмотья взятой взаймы цивилизации, с стройностью простой, чистой народной жизни, мало испорченной чуждыми влияниями и еще способной к обновлению на началах правды и здравого смысла.

Если окончить Гоголем ход нашего литературного развития, то и окажется, что до сих

пор наша литература почти никогда не выполняла своего назначения: служить выражением народной жизни, народных стремлений. Самое большое, до чего она доходила, заключалось в том, чтобы сказать или показать, что есть и в народе нечто хорошее. С течением времени подобные замечания и указания делаются все чаще и чаще, и в этом пока заключается развитие нашей литературы. В числе исключительных личностей, мало имевших влияния на литературное движение, нельзя забыть Крылова, Кольцова и Лермонтова. Крылов ограничил свою деятельность одним родом литературных произведений – баснею и потому мало имел влияния на развитие литературы, хотя, конечно, значение его будет весьма велико, когда его басни дойдут до народа. Кольцов жил народною жизнью, понимал ее горе и радости, умел выражать их. Но его поэзии недостает всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только с своими частными житейскими нуждами; оттого песни его, при всей своей простоте и живости, не возбуждают того чувства,

как, например, песни Беранже. Лермонтов же обладал, конечно, громадным талантом и, умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством служит его удивительное стихотворение «Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма, и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно. Он говорит:

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Что же любит в родине этот поэт, равнодушный и к воинской славе, и к величавому покою государства, и даже к преданьям темной старины, записанным смиренными иноками-летописцами? Вот что он любит:

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи кочующий обоз
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску, с топаньем и свистом,
Под говор пьяных мужичков.

Полнейшего выражения чистой любови к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского поэта. К несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили его далеко от народа, а слишком ранняя смерть помешала ему даже поражать пороки современного общества с тою широтою

взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских поэтов...

Таков был, по нашему мнению, общий ход развития русской литературы с древнейших ее времен.

А сатирическое-то направление? – восклицает читатель. – Вы о нем ничего не говорите? Что литературное развитие вообще было слабо, это мы знаем; это и г. Милюков говорит, и еще гораздо сильнее вас. Но он вместе с тем превозносит сатирическое направление. Г. Милюков говорит, что без сатирического направления никакого спасения не было для русской литературы и что сатирическое направление всегда ее поддерживало, оживляло, возносило и прославляло. Г. Милюков говорит, что «сатира всегда сражалась с массою, которая постепенно уменьшается; что она враждовала с настоящим, как с остатками прошедшего, указывая на славное будущее; что она всегда производила благотворное действие на нравы; что в сатире общество наше нашло того двигателя, который постоянно продолжает вести его по пути к совершенству, уничтожая преграды, поставленные ве-

ковым отчуждением и невежеством». Вот что говорит г. Милюков о значении сатиры. А вы даже не упомянули о ее благотворном влиянии!

– Да, – отвечаем мы, – верьте г. Милюкову! Он слишком нежно смотрит на русскую литературу; он проникнут такою горячею любовью к ней, что непременно хочет в ней отыскать нечто превосходное и благодетельное для нравов общества. Не за что взяться, так он и принялся за сатиру как за прекрасное средство дать почувствовать благородные стремления литературы. Это с его стороны большая поблажка, делающая честь доброте его сердца, но тем не менее излишняя. Что касается до нас, то мы вполне верим г. Милюкову только тогда, когда он бранит что-нибудь: уж если такой добрый и снисходительный человек находит, что это дурно, думаем мы, то уж верно и в самом деле дурно. Но когда он хвалит, то нельзя не видеть, как его доброе сердце преувеличивает значение восхваляемой вещи. Вот хоть бы и сатира русская... Мы о ней нарочно не говорили именно потому, что г. Милюков так превозносит ее. «Очерк

поэзии» г. Милюкова составлен так хорошо, как ни одна из историй русской литературы, и потому нам не хотелось спорить с почтенным автором о предмете, который так последовательно проведен им по всей книге. Сатирическое направление, разумеется, хорошо; кто же об этом спорит? Но зачем приходить от него в такой восторг? зачем приписывать ему исправление нравов общества, зачем считать его каким-то двигателем? Стоит всмотреться пристальнее в нашу сатиру, чтобы убедиться, что она проповедовала зады. Положение наших сатириков было, в самом деле, отлично-выгодное: они видели перед глазами, в других частях Европы, лучший порядок и могли смеяться над нашим дурным порядком, зная, чего именно хотят они. Они могли выставлять на позор наши заблуждения, наше невежество, почерпнув из западной науки истины, еще неизвестные и недоступные нашему обществу. Но что же делала наша сатира? Она всегда шла позади жизни, тогда как по своему исключительному положению среди нашего общества могла опережать ее; она видела порок только тогда, когда он был уж ули-

чен, опубликован и всенародно наказан; ранее она не осмеливалась дотронуться до него. Ведь были у нас, конечно, люди образованные и раньше Кантемира; были и противники просвещения; отчего же только после указа Петра о том, что стыдно быть невеждою, особливо дворянину, и что все дворяне должны учиться, – отчего только после этого является сатира на хулящих учение?.. Пьянство испокон веку у нас было распространено; против него были указы еще в XVI и XVII вв., а до Кантемира опять никто сатирически не изобразил его. Местничество при Петре уже окончательно пало, а Кантемир потешается над ним (т. е. вообще над боярской спесью) в целой длиннейшей сатире{30}. А ханжество, лесть, обман и т. п. разве меньше были распространены до Кантемира? Что же никто не поражал их? Ответ, конечно, легок: тогда и сатиры вовсе не было, а на нет и суда нет. Ну, хорошо; а почему Кантемир не поражал тех пороков, какие в его время были сильны? Вы спросите, какие пороки? Да возьмите современные записки или хоть немножко пораньше. Возьмите хоть Кошихина. Вот, например,

он говорит, что при царском погребении, которое совершается всегда ночью, бывает страшный грабеж, потому что московских людей *натура не богобоязливая:* «...и сыщется того дни, как бывает царю погребение, мертвых людей, *убитых и зарезанных,* больше ста человек. И изойдется на царское погребение денег на Москве и в городах близко того, что на год придет с государства казны» (стр. 17). Или, например, тот же почтенный подьячий пишет, что «во всем свете нигде такого на девки обманства нет, яко в московском государстве», и описывает эти обманства. А они продолжались, с разными видоизменениями и во времена Кантемира. Или – у Кошихина есть такое известие о чиновниках: хотя, говорит он, за взятки и положено наказание, и чиновники клянутся и крест целуют, чтобы посулов не принимать, но «ни во что вера их и заклинательство: от прелести очей свои удержати не могут и руки ко взятию скоро допущают, хотя не сами собою, однако по задней лестнице через жену, или дочерь, или через сына, и брата, и человека, и не ставят того себе во взятые посулы, будто про то и не веда-

ют» (стр. 93). Или вот это: «...а буде (бояре и дворяне) учинят над подданными своими крестьянскими женами и дочерьми какие блудные дела, или у жонки выбьют робенка, или мученая и битая с робенком умрет, и будет на таких злочинцев челобитье, и по их челобитью отсылают такие дела на Москву к патриарху» (стр. 114). Да чего тут ждать челобития! Сатирой бы их хорошенько, этих злочинцев! Их-то именно и прикрыть бы сатирой! Но сатира Кантемирова молчала об этом, а восставала с благородным негодованием против Медора, завивающего кудри, против Менандра, переносящего вести, против скупого Хризиппа, против расточительного Клеарха{31}. А главной ее заботой было воспеть пользу преобразований, уже сделанных Петром, и посмеяться над теми, которые бессильно, на словах, еще отвергали их пользу. А то мало ли было во время Петра и вскоре потом пороков, подлежащих обличению литературы! Загляните только в «Записки Желябужского»; чего там нет! «В 193 (1685) г. князю Петру Крапоткину чинено наказанье: бит кнутом за то, что в деле своровал, выскреб и

приписал своею рукою. В том же году князь Яков Иванов, сын Лобанов-Ростовский, да Иван Андреев, сын Микулин, ездили на разбой по Троицкой дороге к красной сосне, разбивать государевых мужиков, с их, великих государей, казною, и тех мужиков они разбили, и казну взяли себе, и двух человек мужиков убили до смерти. В 201 г. (1693) князю Александру Борисову, сыну Крупскому, чинено наказанье: бит кнутом за то, что жену убил. В 202 г. земского приказу дьяк Петр Вязмитинов перед московским судным приказом подыман с козел и, вместо кнута, бит батоги нещадно: своровал в деле, на правеж ставил своего человека вместо ответчика». Такие явления заслуживали, я думаю, литературного обличения, более нежели завиванье кудрей и пристрастие к французским модам. Если хотите проследить явления русской жизни, подлежащие сатире, далее, то можете заглянуть во многие книги, только не в сатирические творения. В русской сатире современность вы редко найдете; скорее попадется она вам в каких-нибудь мемуарах Манштейна, Миниха, Храповицкого, Грибовского, в «Семена Поро-

шина записках», в «Актах, извлеченных из иностранных архивов» Тургеневым, в «Полном собрании законов Российской империи». В Полном собрании есть, например, указ Петра I о том, «что крестьян продают на розницу, как скотов, и даже так, что от семей, от отца или от матери, дочь или сына помещик продает, отчего немалый вопль бывает». Сатира не коснулась таких явлений до последнего времени. Можно ли же после этого сказать, что она была двигательницею общества по пути к совершенству? стоит ли также говорить о ее благотворном влиянии на исправление нравов? Сумароков преследовал взяточничество; это было хорошо, хотя и поздно немножко, потому что об этом зле есть уже положительные упоминания в XVI столетии. Но что же вышло из его обличений? Через 25 лет после него Капнист опять обличал то же {32}, через 40 лет потом Гоголь восстал против того же в «Ревизоре»; ныне, через 20 лет после «Ревизора», образовалась целая литература приказной казуистики;{33} видно, что мало пользы принесли сатиры русских авторов, как они ни были разнообразны и ядови-

ты. А все отчего? оттого, что сатира всегда была робка, мелочна, близорука, пока сама жизнь не опережала ее. Кого выводили преследователи взяток? Городничего, исправника, станового, квартального, председателя гражданской палаты да еще какого-то нарицательного судью, вероятно уездного. Предположите же, что все подобные мелкие чиновники исправились бы после сатирических нападений на них; думаете ли вы, что этого было бы довольно для прекращения взяточничества в целой России? Притом посмотрите, с какой точки зрения делаются у нас все обличения сатирические. Говоря, совершенно справедливо, что

...Законы святы,
Да исполнители лихие супостаты {34}, —

наши сатирики на этом и успокаиваются. Не принимая в расчет состояния общественной нравственности, ни исторических обстоятельств развития порока, ни общего положения администрации, ни отношений одного класса к другому, сатирики рады свалить всю

беду на бедную личность чиновника, которая часто вовсе без вины виновата. Так, один умный администратор, вроде Сквозника-Дмухановского, хотел предать суду одного человека, пойманного на месте в азартной игре. «С кем же он был пойман?» Да один, видите: он вел азартную игру сам с собою!

Возьмите другой порок, который преследовала наша сатира, – невежество. Кантемир смеялся над теми, которые не слушаются указов Петра I; чувства его очень похвальны, хотя опять нельзя сказать, чтоб они предупредили жизнь... Но посмотрим, что из того вышло. Прошло 30–40 лет; Сумароков опять выводит господина, который говорит:

...Не надобно наук:
Пускай убытчатся, уча ребяток, моты,
Мой мальчик не учен, а в те ж пойдет вороты{35}.

Прошло еще лет 20; г-жа Простакова говорит: что за география? извозчики есть; что за деление? ни с кем делиться своим добром не надобно, и пр. в этом духе. Проходит еще лет 40, и мы слышим сожаление о князе Федоре,

который бог знает зачем учится разным наукам...{36} Что из этого следует? По-нашему, то, что одно из двух положений г. Милюкова в пользу сатиры неверно: или сатира не производила благодетельного влияния на нравы, или же она производила его, и тогда, значит, после Кантемира, она уж все повторяла зады единственно для своего удовольствия.

Повторять зады, впрочем, не в диковинку было русской сатире: она отлично умела бранить то, что уж отжило свой век и было неопасно. В этом отношении особенным искусством отличался Державин. Он умел сочинить даже оду сатирическую, обративши стрелы своего остроумия на прошедшее да на некоторые анонимные личности, которых, впрочем, испугался, узнав, что до них дошла его ода. Между прочим, он остроумно и справедливо говорит, что при дворе Фелицы

...Свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят;
Не щелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы въявь им не хохочут
И сажей не марают рож{37}.

А ведь когда это все совершалось, ничей сатирический голос не поднялся для порицания подобных потех! Вот вам и могущество русской сатиры!

Если же не на прошедшее обращались нападения сатириков, то уж на такие микроскопические недостатки, от которых общественная нравственность решительно не изменяла своего положения. Например, в прошлом столетии каждый сатирик непременно преследовал со всем жаром «плохих стихотворцев». На них и сатиры и басни писались, и в посланиях они задевались, и даже, кажется, в разговорах в царстве мертвых осмеивались. Не правда ли, какое достойное занятие для русского сатирика! Как хорошо рисуется этим домашнее, патриархальное значение русской литературы, которая писалась сама для себя, находила предметы в своем тесном кружке и довольна была тем, что производила послания одного поэта к другому, эпиграммы другого на третьего, критики третьего на послания первого, сатиры первого на критики третьего и т. д. Вот уж в подлинном смысле литература была сама для себя целью: художественная,

видно, была литература!

Что же касается до действительных и важных злоупотреблений поэзии, они никогда не встречали своевременного обличения. Пиндаризм, имевший в виду

...Награду перстеньком,
Нередко сто рублей, иль дружество с князьком{38}, —

не встретил насмешки ни в ломоносовское, ни в державинское время; а уже тогда, когда он отжил свой век, явилась злая сатира Дмитриева: «Чужой толк». Над поэмами Хераскова тоже стали смеяться только с двадцатых годов нынешнего столетия. Только над Жуковским Батюшков осмелился посмеяться очень скоро, сочинивши пародию на его «Певца», зато пародия эта не была известна публике до прошедшего года{39}.

А подражание французам! От Кантемира, Сумарокова, Фонвизина до «Русского педагогического вестника», издаваемого с прошлого года неким господином Вышнеградским, – все, вот уж с лишком сто лет, все нападают на подражание французам; но только все не

впрок! Бог знает отчего это! – кажется, уж «Русская беседа» и русское воззрение сочинила на место французского, а все толку нет: как открылась первая возможность, так и отправились десятки тысяч за границу... А заметьте, что подражание французам распространено ведь в ничтожном меньшинстве русских; народ и до сих пор, хоть и не чуждается иноземцев, как прежде, но и не думает принимать их нравы. Что же это за могучая сатира, которая с ничтожным кружком в частном вопросе не может справиться?

Нет, как вы хотите, и в сатире нашей постоянно господствовала та мелкость, та узкость взгляда, которые мы заметили вообще в нашей литературе. И сатира не возвышалась у нас до понимания народных интересов, несмотря на некоторые исключительные явления, почти всегда имевшие только частный смысл. [5]

Вообще, что русская сатира не народна, это видно уж из того, что она противоречит народной пословице: «Лежачего не бьют». Она постоянно восставала на лежачего, как только переставала пересыпать из пустого в по-

рожнее. А большею частию занималась этим полезным пересыпаньем. Ведь придет же, в самом деле, в голову русскому сатирику переводить «Боалову сатиру о различии страстей человеческих»! Или переделывать на русские нравы Ювеналову сатиру о благородстве!{40} Грибоедов как будто имел в виду русских сатириков, изображая Чацкого. Ни к селу ни к городу людям, которые не хотят их слушать и не могут понять, а если поймут, то не могут выполнить их требований, начинают они кричать о Кузнецком мосте и вечных нарядах, об иголках и шпильках (не замечая слона), восстают против фраков и бритья бород (а сами выбриты и во фраке), против мелочных недостатков, зависящих от обычая или даже приличий, принятых всеми и, в сущности, никому не мешающих. И тут же вдруг, как снег на голову, грянут с каким-нибудь маленьким требованьем: будь, дескать, добродетелен, служи бескорыстно, ставь общее благо выше собственного, и т. п. абстракции, весьма милые и вполне справедливые, но, к несчастью, редко зависящие от воли частного человека… Совершенно так, как Чацкий изде-

вается над фраком, очень хорошо понимая, однако, что носить или не носить фрак, брить или не брить бороду вовсе не зависит от восклицаний какого-нибудь одного азартного господина.

Нет, мы решительно недовольны русской сатирой, исключая сатиры гоголевского периода. Вот почему и не хотели мы говорить о ней так, как мы о многом не хотели говорить в этой статье. Просим читателей не видеть в наших отрывочных заметках каких-нибудь особенных претензий. Мы даже не хотели проводить своего взгляда по всем явлениям русской литературы; мы сказали только, что любопытно было бы представить ход развития русской литературы с такой точки зрения: как она постепенно сближалась с народом и действительностью, постепенно избавляясь от исключительного влияния книжников-монополистов и от призрачных, туманных идей, насильно навязанных ими литературе. Г. Милюков отчасти имел в виду этот взгляд в последней половине своего труда, именно в оценке деятельности Пушкина, Лермонтова и Гоголя; но, увлекшись жаркою лю-

бовью к сатирическому направлению, он не мог провести этого взгляда по всей книге. Да если бы и провел, то результаты его оказались бы, вероятно, излишне плодотворны, опять по тому же крайнему уважению к сатире. Мы же, с своей стороны, признаем только плодотворность сатиры Лермонтова, Гоголя и его школы, да и то не в таких громадных размерах, как представляет г. Милюков. Мы видим, что и Гоголь хотя в лучших своих созданиях очень близко подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической ощупью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо идти дальше и уже все вопросы жизни пересмотреть с той же народной точки зрения, оставивши всякую абстракцию и всякие предрассудки, с детства привитые к нему ложным образованием, тогда Гоголь сам испугался: народность представилась ему бездной, от которой надобно отбежать поскорее, и он отбежал от нее и предался отвлеченнейшему из занятий – идеальному самоусовершенствованию. Несмотря на то, художническая его деятельность оставила глубокие следы в литературе, и от ны-

нешнего направления можно ожидать чего-нибудь хорошего, потому что нынешние деятели начинают явно стыдиться своего отчуждения от народа и своей отсталости во всех современных вопросах. Предупредить жизни литература не может, но предупредить формальное, официальное проявление интересов, выработавшихся в жизни, она должна. Пока еще известная идея находится в умах, пока еще она только должна осуществиться в будущем, тут-то литература и должна схватить ее, тут-то и должно начаться литературное обсуждение предмета с разных сторон и в видах различных интересов. Но уж когда идея перешла в дело, сформировалась и решилась окончательно, тогда литературе нечего делать; разве только один раз (не больше) похвалить то, что сделано. Поздняя же брань будет просто постыдным пересыпаньем из пустого в порожнее и будет только напоминать того хохла, который, будучи сильно побит, пришел домой и храбрился перед родными, хвастаясь, что когда его били, так он тоже свое дело делал – «показывал фигу» в кармане.

Пора наконец и расстаться с г. Милюковым. Но мы не можем расстаться с ним, не обративши внимания читателей на его превосходный разбор «Мертвых душ» по всем правилам эпической поэмы. Применение всех этих правил к «Мертвым душам» обнаруживает в авторе большой диалектический талант. Как, напр., умел он найти *чудесное* в «Мертвых душах»? Это была трудная задача, а он нашел, и нашел так искусно, что мы не можем удержаться от удовольствия выписать это место:

> *В героической поэме, по условиям теории, должно быть чудесное: таково в «Энеиде» вмешательство Эола и Юноны в судьбу сына Анхизова, а в «Илиаде» – участие богов Олимпа во всех битвах и событиях под стенами Трои. И это мы находим в нашей отечественной эпопее. Что может быть чудеснее этих мертвых душ, которые «окончили в некотором роде свое земное существование», а между тем невидимо присутствуют перед вами во всей повести и служат главным основанием подвигов героя, важнейшим*

средством его к достижению высокой цели обогащения? И кому не покажется сверхъестественным, что души крестьян, давно уже совершивших свое жизненное поприще, существуют еще за Стиксовой гранью гражданской палаты, незримо живут в грудах бумаг и ревизских сказок, таинственно прикованы еще к земле и не смеют вкусить успокоения в Елисейских полях, пока не прозвучит труба новой ревизии и не освободит их от невидимого заключения в судебных вертепах! Кто не увидит чудесного в том, что эти мертвые души продолжают еще невидимо платить за себя подати и отправлять повинности, служить предметом сделок и процессов, средством обогащения и спекуляции и даже вводят в сомнение Коробочку, не годятся ли они еще на что-нибудь в домашнем хозяйстве! Все это в высшей степени чудесно, а вместе с тем действительно и вполне естественно, – выгода, какой не имел решительно ни один из древних эпических поэтов (стр. 214–215).

Повторим в заключение, что книжка г. Ми-

люкова умнее, справедливее и добросовестнее прежних историй литературы, составлявшихся у нас в разные времена, большею частью с крайне педантической точки зрения. Особенно тем из читателей, которые стоят за честь русской сатиры и которым наш взгляд на нее покажется слишком суровым и пристрастно-неблагонамеренным, таким читателям лучше книжки г. Милюкова ничего и желать нельзя в настоящее время.

Сноски

1

Есть ли у бедняка отечество?
На что мне ваши вина и ваш хлеб,
Ваша слава и ваша промышленность
И все ваши ораторы, взятые вместе!{41} (франц.). – Ред.

[^^^]

2

Кметы – простые поселяне, лехи – богатые владельцы, владыки – мелкие владетели.

[^^^]

3

вообще *(франц.). – Ред.*

[^^^]

4

Довольно припомнить его восклицание:

Прочь дерзка чернь, непросвещен-на
И презираемая мной!{42}

[^^^]

5

Нельзя же ведь Сумарокова, например, назвать представителем народных интересов только потому, что у него есть такие стихи:

На то ль дворяне мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Мужик и пьет и ест, родился и умрет;
Господский так же сын, хотя и слаще жрет,
И благородие свое нередко славит,
Что целый полк людей на карту он поставит;
Ах, должно ли людьми скотине обладать{43}.

Этими стихами обольщаться не должно: смысл их не простирается далее такого заключения: людьми надобно обладать не скотине, а людям, и обладать по-людски, т. е. милостиво и справедливо. Та же мысль и у Фонвизина, в отзывах Простаковой о Палашке. В случае надобности, это можно доказать дру-

гими местами из их сочинений.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Добролюбов имеет в виду А. И. Герцена, Н. П. Огарева и их кружок; дать более определенную оценку значения философских и общественно-политических воззрений Герцена Добролюбов не мог по цензурным соображениям.

[^^^]

2

Строка из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. VIII, строфа LI).

[^^^]

3

К середине 1850-х гг. «из тех, кто одушевлял литературу в сороковых годах», не стало Белинского (умер в 1848 г.), Гоголя (умер в 1852 г.); Герцен с 1847 г. и Огарев с 1856 г. находились в эмиграции.

[^^^]

4

Из стихотворения Пушкина «Герой» (1830).

[^^^]

5

Подразумеваются различные «поэтические» отклики на коронацию Александра II.

[^^^]

6

Оговорка об «австрийской подозрительности» и «ост-индском произволе» подразумевала, конечно, подозрительность и произвол царских властей в России.

[^^^]

7

Из стихотворения Кольцова «Из Горация» (1841).

[^^^]

8

Речь идет о французских социалистах-утопистах (Сен-Симон, Фурье и др.).

[^^^]

9

Речь идет о книге Жозефа де Местра «О папе» (1819).

[^^^]

10

Слова Антония о Бруте в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1600).

[^^^]

11

Добролюбов имеет в виду Байрона.

[^^^]

12

«Сказание о Мамаевом побоище» – литературный памятник XVI в., в основе которого лежит повесть «Задонщина» (конец XIV – начало XV в.).

[^^^]

13

Софроний – автор не «Сказания», а «Задонщины» (см. прим. 13).

[^^^]

14

Произведения владимирского епископа Серапиона являются выдающимися литературными памятниками XIII столетия.

[^^^]

15

Имеется в виду «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона (написано между 1037–1050 гг.).

[^^^]

16

Подразумевается «Хождение» игумена Даниила, посетившего Палестину в 1106–1108 гг.

[^^^]

17

«Русская правда» – общее название для всех сборников древнерусского права. Древнейший из этих сборников относится к первой половине X в.

[^^^]

18

Имеются в виду: «Странник» Стефана Новгородца (около 1350), рассказывающий о святынях Царьграда, описание Василием «гостем Московским» своего путешествия в Малую Азию, Палестину и Египет в 1464–1465 гг. и известное описание тверским купцом Афанасием Никитиным путешествия в Индию в 1466–1472 гг. – «Хождение за три моря».

[^^^]

19

Известны две повести о взятии Пскова: «Сказание о псковском взятии» (начало XVI в.) и «Повесть о прихождении короля литовского Стефана Батория в лето 1577-е на великий и славный град Псков» (конец XVI и начало XVII вв.).

[^^^]

20

«Домострой» – русский письменный памятник XVI в.; представляет собой тщательно разработанный свод правил общественного, религиозного и, в особенности, семейно-бытового поведения. *«Сказания Курбского»* – имеется в виду «История о великом князе Московском» А. М. Курбского., написанная в 60–70-х гг. XV в. в Литве, куда Курбский, изменив родине, бежал после проигранного сражения, а также его письма к Ивану Грозному.

[^^^]

21

Имеется в виду памфлет Г. К. Кошихина (Котошихина) «О России в царствование Алексея Михайловича».

[^^^]

22

Добролюбов имеет в виду «Книгу о скудости и богатстве» (1724) видного публициста и экономиста конца XVII и начала XVIII вв. И. Т. Посошкова.

[^^^]

23

Имеется в виду ода Державина «На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского» (1790).

[^^^]

24

Росслав – герой одноименной трагедии Я. Б. Княжнина *(1784). «Титово милосердие»* – трагедия Княжнина (1785).

[^^^]

25

Пиндарическая школа. – Добролюбов имеет в виду школу Ломоносова, главным образом поэтов-«одописцев» XVIII в.

[^^^]

26

Из «Евгения Онегина» (гл. 2, строфа XXXIX).

[^^^]

27

Из стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» (1828).

[^^^]

28

Вольная цитата из стихотворения «Поэт и толпа» («Чернь», 1828). У Пушкина: «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас...»

[^^^]

29

См. рецензию Добролюбова на т. VII «Сочинений» А. С. Пушкина в изд. П. В. Анненкова (стр. 150–162 настоящего издания).

[^^^]

30

Имеется в виду сатира Кантемира «Филарет и Евгений (На зависть и гордость дворян злонравных)» (1730).

[^^^]

31

Медор, Менандр, Хризипп, Клеарх – герои сатир Кантемира «К уму своему (На хулящих учение)» (1729) и «О различии страстей человеческих» (1730).

[^^^]

32

Речь идет о сатирической комедии Капниста «Ябеда» (1796), направленной против взяточничества.

[^^^]

33

Литература приказной казуистики. – Добролюбов имеет в виду «обличительную» литературу современных ему либералов.

[^^^]

34

Из «Ябеды» Капниста (действие I, явл. I).

[^^^]

35

Из сатиры Сумарокова «Кривой толк» (1759).

[^^^]

36

Князь Федор – лицо, упоминаемое в «Горе от ума» Грибоедова (действие III, явл. XXI).

[^^^]

37

Из оды Державина «Фелица» (1782).

[^^^]

38

Из сатиры И. Дмитриева «Чужой толк».

[^^^]

39

См. примечание 2-е к рецензии Добролюбова на т. VII «Сочинений» А. С. Пушкина.

[^^^]

40

Намек на сатиру Кантемира «О различии страстей человеческих» и сатиру Сумарокова «О благородстве».

[^^^]

41

Из стихотворения Беранже «Старый бродяга».

[^^^]

42

Строки из стихотворения Г. Р. Державина «О удовольствии» (1808), (у Державина: «буйна чернь»).

[^^^]

43

Строки из сатиры Сумарокова «О благородстве» (1774).

[^^^]

[^^^]